

II

05

77.629

КОНСТ. КОНИЧЕВ

Кр.

**ЗЕМЛЯК
ЛОМОНОСОВА**



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1950



КОНСТ. КОНИЧЕВ

ЗЕМЛЯК ЛОМОНОСОВА

ПОВЕСТЬ О ФЕДОТЕ ШУБИНЕ



62976 II
77629

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1950



Федот Иванович Шубин.

Автопортрет.
Академия художеств (Ленинград).

K-64 + Kp.

*Обложка, титул, заставка
и концовка художника
С. Г. Григорьева*

Посвящается
С. К. ИСАКОВУ



ВСТУПЛЕНИЕ

Далекий, студеный север избяной матушки-Руси.

Широким разливом сквозь непроходимые лесные дебри вливается в Белое море многорукавая Северная Двина. Хмурые облака давят на темные хвойные леса, на низкие заболоченные берега многоводной реки. Дальше, за морем — никем в ту пору неизведанная ледяная земля и далекий Грумант, богатый рыбой и зверем.

Когда-то Двинская земля была дикой и безлюдной. В глубине веков этим лесным, приморским краем владели племена заволоцкой чуди. А потом с Волхова, с Ильменя, по речным перекатам, по таёжным озерам и звериным тропам пробирались вольные новгородцы в низовья Северной Двины и на Беломорское побережье. Они несли на север свою предприимчивость, удаль и культуру древнего Новгорода. По берегам Кубины и Сухоны, Двины и Мезени, Онеги и Ваги вырастали поселки новгородцев.

Но еще до прихода новгородцев легенды о здешнем крае дошли до заморской Скандинавии и там были запечатлены в народных сказаниях — сагах.

А еще раньше древний римский историк Тацит вспоминал далекую северную страну охоты, страну особенных людей, которые „ушли в безопасность от богов и достигли самого трудного — отсутствия желаний“.

Летописец Нестор в „Повести временных лет“, составленной в начале XII века, донес до нас ранние известия о борьбе новгородского боярства за богатства двинского севера.

Центром древнего Заволочья были Холмогоры. Более тысячи лет тому назад сюда заглядывали норманны и увозили к себе на родину моржовые клыки и тюленьи шкуры. В одиннадцатом веке здесь, на Двинской земле, сложил свою голову новгородский князь Глеб Святославович.

Спустя столетие восставшие двиняне перебили новгородскую рать.

В тринадцатом веке упрямые новгородцы вновь собрались с силой, овладели Холмогорами и утвердили на севере боярское посадничество. Двинские поселяне долго жили в постоянных раздорах с владетельными боярами и князьями и не раз принимали то ту, то другую сторону в борьбе между Великим Новгородом и московскими князьями за двинские земли.

В пятнадцатом веке, при Иване Третьем, закованная в панцыри четырехтысячная московская рать, подошла к Холмогорам. Двенадцать тысяч новгородцев и двиняне с топорами и рогатинами встретили армию московского князя. Целые сутки рубились на берегах реки Шиленги. И несдобровать бы тогда москвичам, если бы сами двинские жители не захотели испытать чья власть лучше: новгородских бояр или московского князя? Двиняне изменили новгородским владетелям, и Холмогоры перешли под власть Москвы. С новгородской боярщиной было покончено, ее заменил тягловый царский удел.

В Холмогорах и по всей округе на лучших землях, в самых живописных местах севера, нашло себе прочный приют черное духовенство. На мужицких костях вырастали крепкие монастырские стены — оплот русского самодержавия. Сюда, в места весьма отдаленные, со времен Бориса Годунова стали высылать людей опасных, крамольных. Неподалеку от Холмогор, в застенках Сийского монастыря, томился недруг Годунова, будущий московский патриарх Филарет, отец первого царя из династии Романовых.

В годы польской интервенции начала XVII века Холмогорам угрожали банды поляков. Надменные и наглые паны шли грабить русских северян и сжигать их селения. Под Холмогорами поляков изрубили. Их трупы двиняне бросали с угорья в зыбучее болото. На том месте, в память победы над ляхами, построена деревня и дано имя ей Бросачиха...

В ожидании новых бед и напастей людный торговый город Холмогоры горожане заботливо окружили высокой бре-

венчатой оградой. Глубокий ров преграждал подступы к холмогорским стенам. Остроконечные башни с амбразурами для стрельцов возвышались на опорных углах городской стены.

По речным разливам вблизи Холмогор и на взморье стояли сотни рыбацких парусников. На глубокой просторной реке корма к корме покачивались трехмачтовые корабли. Торг России с границей начинался здесь, позднее — в Архангельске. В летнюю пору из Холмогор уходили в „неметчину“ суда с русскими товарами. И тогда уже охочая до чужого добра, королевская Англия мечтала обрести себе на русском севере вторую Индию.

Царь Петр Первый три раза приезжал на Север и каждый раз посещал Холмогоры. Здесь, в деревушке Вавчуге, купцы Баженины начали судостроение.

Колыбель русского торгового и военного морского флота — около Холмогор.

Петр закричал за холмогорской епархией своего любимца епископа Афанасия, того самого, которому старообрядец Никита Пустосвят во время спора о религии вырвал с кожей клоч борода. Петр позволил епископу бриться и наказал ему, чтобы в Холмогорах было заведено церковное и светское книгописание и чтобы он, Афанасий, заставил лодырей монахов учить грамоте и детей и взрослых. Так в Холмогорах появились книги и грамотность.

Но Петру сразу же приглянулся другой город — Архангельск. Город этот ближе к выходу в море. Русло двинское здесь глубже и берега удобны для защиты и стоянки многих кораблей. Архангельск быстро обстраивался русскими купцами. Здесь же поспешно выростала немецкая слободка, с уютными, раскрашенными домами и факториями. Шла бойкая торговля. Торговали рыбой: зубаткой, треской, пикшей, семгой и сельдью, навагой и палтусом, продавались моржовые клыки, рыбий жир и тюленьи шкуры. Устюжане привозили сюда мыло, ваганы — деготь; с Вычегды везли пушнину и соль; из Вятки — парусину... Одни трудились, другие торговали. Одни богатели, другие жили в нужде и обиде и про себя в шутку говорили:

— Живем богато, со двора покато, чего ни хватись, за всем в люди катись...

Много зажиточней других северян жили поморы — рыболовы, зверобои. Они населяли громадную Холмогорскую округу и успешно промышляли на Зимнем и Летнем берегах Белого моря.

... Шли годы. Из холмогорской Денисовки со своим отцом на просмоленном рыбацком суденышке спускался в море за добычей будущий великий ученый Михайло Ломоносов. Что побудило рыбацкого отрока оставить отцовские мрежи и пойти с „благородной упряжкой“ до мировой славы? Сказались в нем вольный дух новгородских предков, независимость от помещичьей кабалы и стремление быть полезным слугой своему народу.

Путем великого русского ученого Ломоносова пошел из этих мест в люди и другой холмогорец, черносоломенный тягловый пахарь, искусный костерез — Федот Шубной.

О нем и будет наше повествование.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приземистая харчевня целовальника Башкирцева, срубленная из кондовых, восьмивершковой толщины бревен, стояла на краю Холмогор. Подслеповатые тулошные оконницы — слюда вместо стекол — глядели на весенний, густо унавоженный тракт. По нему возвращались из Москвы и Петербурга последние обозы, ходившие с мороженой сельдью в тысячеверстный путь.

Около харчевни толпились бородатые мужики в длиннополых кафтанах. Одни выпрягали, другие запрягали низкорослых выносливых мезенских лошадей, увязывали поплотней возы столичных товаров, набивали рогожные кошелки сеном и поили коней из деревянных ведер.

В харчевне на широких, до желтизны вымытых лавках, распоясавшись, сидели куростровские бывалые поморы и мастера-костерезы. Они пили не спеша из больших глиняных кружек хмельную брагу, закусывали соленой семгой и, казалось, нисколько не пьянели.

Стемнело. В сумрачные оконца донесся унылый звон колокола. Звонили к вечерне. Хозяин харчевни набожно перекрестился левой рукой, ибо правая у него давно отнялась и висела, как плеть, неподвижно. Обращаясь к мужикам, Башкирцев вытянул вперед нижнюю губу и, часто моргая мутными глазами, заговорил:

— Не пора ли, братцы, к домам? Хватит, попили. Не будем бога гневить, скоро соборный поп вечерню станет служить.

— Ну и пусть, а нам какое дело, надо и в моленье меру знать, а то сегодня свеча да завтра свеча, поглядишь —

и шуба долой с плеча... — возразил Иван Шубной. — Мы еще попьем, погуторим, поставим на ребро последний алтын и еще попьем. Сам господь в Кане Галилейской из воды вино делал для того, чтобы люди угощались. Да он и сам пил и нам велел. Винолюбец был, зато не любил он ябедников и не жаловал крючкотворцев, а судьям же сказал: „не судите да несудимы будете, какую мерою мерите, такую и вам отмерится“.

Мужики молча переглянулись. Шубной с хитрой усмешкой покосился на Башкирцева и, вытерев рукавом кафтана мокрые усы, добавил:

— Будем пить, и бо знают чудотворцы, что мы не богомольцы. Чем итти к вечерне, так лучше посидеть в харчевне, — и снова жадно приложился к увесистой глиняной посудине.

Башкирцев сплунул себе под ноги, нахмурился, однако поставил на стойку еще ведро браги и вышел через узкую раскрашенную дверь в жилую избу. Видно было, что речи Шубного ему не по нутру. Намек Шубного был прям и понятен. Башкирцев ранее служил в архангелогородской канцелярии, умело стряпал доносы, брал мзду и, говорят, даже продал двух самоедов голландскому посланнику напоказ в его державе. Разбогател Башкирцев и харчевню завел не от трудов праведных; из городской канцелярии он ни почем и не ушел бы, если бы не отнялась у него правая рука.

Как только Башкирцев удалился, Иван Шубной тотчас бережно снял со стойки ведро с брагой и торжественно водрузил на стол, около которого сидели сыновья его Кузьма да Яков и вернувшийся с обозом из Петербурга куростровский сосед — Васька Редькин. Лицо Васьки за долгий путь сильно обветрилось, загорело и обросло круглой пышной бородкой. От обильного угощения Редькин повеселел и беспрестанно ухмылялся, показывая ровные крепкие зубы.

Иван Шубной усердно подливал в его кружку пенистую брагу и нетерпеливо дергая его за холщевый рукав рубахи, упрасивал:

— Ну, Васюк, Расскажи про него, как живет, помнит ли он нас? Ведь я его начал в люди выводить! Чтению обучил, и письму, и пенюю... — Шубной ударил себя кулаком по широкой груди и с гордостью добавил: — Первой я, первой приметил в Михайле и счастье и талант. Прилежен к грамоте был и памятью крепок... Да, брат, давненько, дав-

ненько это было. Эх, взглянуть бы на него хоть одним глазом! Да ты чего молчишь-то, леший, ну, рассказывай!

Редькин за единый дух опорожнил кружку браги, обвел соседей повеселевшими глазами и не спеша, степенно заговорил:

— Был я в Питере. Ну, и к нашему земляку Михайле Ломоносову наведался. За морошку сушеную, за семгу соленую и за мерзлую сельдь велел он вам передать поклон и сказать спасибо... Теперь сказать вам — как живет он? Ну, как живет?.. Дай бог всякому так-то. А работяга он, ох, работяга, мастер на все руки, зато ему от князей и господ большой почет! Слышать, у самой царицы Лизаветы Петровны на обеде бывает! Вот, братцы, до чего наш Михайло дошел! Всякие премудрости своим умом постиг. Учился в Москве, в Питере, да и в неметчину катался. А жонка у него толстенная, отъелась на питерских-то харчах. Гуторит с ней Михайло на чужом языке, будто ругается. А я слушал и молчал, как дурень. Ни в пень-колоду не пойму!

— Не зазнается, своих-то не избегает? — тихонько спросил Шубной. — Тебя-то сразу признал?

— Сразу, как родного принял, — усмехнулся Васюк. — Хоть и в бархате он, а мужицкий-то дух в нашем Михайле еще крепко держится! Нет, не горделивец он, говорной, про всех вас, стариков, выпрашивал, всех вспомнил. Только вот, говорит, разных дел и выдумок очень много, никак нет времени Холмогоры навестить...

— А какие же такие у него дела и выдумки, не сказывал он, случаем? — полюбопытствовал Яков, старший сын Шубного, рослый и весьма смышлѣнный костерез.

Редькин, не мешкая, ответил:

— Всех выдумок и дел его я не упомянул, а так, про между прочим, слышал, что и книги сочинил многие. И вместо бычьих пузырей и слюды придумал ставить в окна стекла чище чистого льда. И еще видел я, как он своими руками патрет царя Петра сотворил из разных камней и стекляшек, а обличье вышло будто живое, писаное. И надо вам сказать, — понизив голос продолжал Редькин, — с господом-то богом наш Михайло, кажись, не в ладу живет. Рассказывал я ему то да се про наше житье-бытье и говорю ему — лонись летом в грозу от божьей милости у нас храм святого Дмитрия загорелся, где ты бывало на клиросе певал, да кое-как мы потушили... Михайло же на это усмехнулся и сказал: „Вот если бы у нас на Руси поменьше было церк-

вей да кабаков, да побольше громоотводов, тогда и божья милость не страшила бы русского мужика". И пояснил он мне, что громоотвод это такая выдумка — шест с проволокой сверху донизу и что гром и молния при таком громоотводе не в силае поджечь никакое строение. Книг всяких у Михайлы Ломоносова, как вам сказать, в десять раз больше, чем у холмогорского архиерея...

Долго и много еще рассказывал Редькин о встрече со своим земляком, а Шубные, с интересом слушая его, не спеша, кружка за кружкой черпали брагу из ведра.

Поздно вечером, уплатив Башкирцеву за выпитое четыре алтына и три деньги, приятели вышли из харчевни и тронулись к себе в Денисовку. Шли они вдоль Холмогор, мимо рыбных рядов, возле баженинских складов, потом свернули за соборную ограду, оттуда к бывшему архиерейскому двору, окруженному высоким тыном.

В вечернем полумраке тускло сверкали огоньки в узких оконцах холмогорских изб. Свистел ветер на кладбище, мрачно высился над городом старинный собор и еще мрачнее казался недоступный, огороженный, как острог, архиерейский двор. Он бдительно охранялся стражей, вооруженной тесаками, кремневыми ружьями и пищалями. Добрым людям было невдомек — кого тут вот уже пятнадцатый год стерегут строгие офицеры и молчаливые, суровые солдаты. Сейчас лишь, проходя мимо этого таинственного острога, Редькин вспомнил подслушанный им разговор на постоялом дворе в пути, где-то около Шлиссельбурга, и поведал соседям:

— А я теперь разумею, кто тут живет, только, чур, молчок...

— Могила, — отрезал Иван Шубной. — Сказывай, чего слышал?

— Не пикнем, — поддержали отца Яков и Кузьма.

Редькин шел, покачиваясь, и тихонько рассказывал:

— Едучи домой из Питера, свернул я как-то вместе с мужиками нашими за Ладогой в придорожный кабак. В каморке за перегородкой сидели два военных чина, выпивали и разговор тихий вели. Из ихних речей я и распознал, что они из военной охраны, раньше служили где-то в крепости, потом в Рязани, а сейчас у нас в Холмогорах. Охраняют они тут не кого-нибудь, а близкую родню прежней управительницы Анны Леопольдовны. Такой указ царицы: пусть подохнут, на волю же принцевых ублютков не пускать, дабы они на ее царство не сели.

Редькин еще раз попросил соседей об этом молчать и сказал:

— Давайте-ка, братцы, свернем к ограде, послушаем, может чего там и услышим...

Они осторожно, стараясь не шуметь, пошли гуськом по вязкому весеннему снегу. Но часовой с угловой башенки, свисавшей над высоким бревенчатым тыном, заметив их, крикнул:

— Эй, вы! Ярыжки!.. Кто тут бродит?.. Палить стану!

Только и расслышали подвыпившие любознательные мужики. Пришлось по снегу выходить на дорогу и без оглядки шагать в Денисовку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ивану Афанасьевичу Шубному шел седьмой десяток, но это был еще крепкий, не знавший болезней старик, выглядевший гораздо моложе своих лет. Загорелый, широкоплечий, с длинными сильными руками, покрытыми рыжеватой порослью, Шубной мало чем отличался от других артельщиков-покрутчиков, проводивших добрую половину жизни на ледовых просторах Белого моря.

У Ивана Шубного было три сына: Яков, Кузьма и Федот. Последний родился в том году, когда холмогорская канцелярия объявила Михайлу Ломоносова обретающимся в бегах, а в Денисовке за беглого соседа мужики сообща собрали и заплатили первую подать — рубль двадцать копеек.

Когда младшему сыну Ивана Шубного Федоту минуло восемнадцать лет, из Петербурга в Архангельск пришла с черным орлом бумага, и Денисовку за беглого Михайлу Ломоносова податями больше не тревожили...

Старшие братья Федота давно уже были женаты. Жили они вместе с отцом и помогали ему на рыбной ловле в Двинском устье, на охоте, в домашних делах и в резьбе по кости.

В меньшем своем сыне Федоте Иван Афанасьевич приметил, как когда-то в Ломоносове, большие способности ко всякому делу и поспешил отдать его в учение в архангельскую костерезную мастерскую. Здесь вместе с другими резчиками по кости и перламутру Федот Шубной коротал зимние серые дни и при свете лучины за кропотливой работой просиживал долгие северные вечера и ночи.

Мастерскую возглавлял старый мастер, с длинными, свисающими до плеч волосами, в круглых очках, приобретенных в архангельской немецкой слободе. Мастер подчинялся епархиальному управлению. Руками способных резчиков тогда в мастерской выполнялись заказы холмогорского епископа, Соловецкого монастыря и московской Оружейной палаты. К старательным ученикам мастер применял доброе слово, а незадачливых, случалось, трепал за вихры и нередко избивал. Прилежный и смекалистый, Федот Шубной обходился без побоев.

Мастер заставлял неопытных учеников на первых порах делать гребни, ухвертки, указки, блохоловки и вошебойки. Таким, как Федот, он поручал более трудные заказы: крестики, узорчатые ларцы, иконки и архиерейские панагии. Подобные заказы приносили большой доход епархиальному управлению.

По воскресным дням костерезы, сопровождаемые мастером шли к заутрене и обедне в архангелогородскую церковь и становились по четыре в ряд за левым клиросом. После обедни, если это было зимой, они до потемок катались за городом на оленях, гуляли с рослыми архангелогородскими девицами, распевая заунывные песни:

Сторона ли моя сторонка,
Не знакома здешняя.
На тебе ль, моя сторонка,
Нету матери, отца.
Нету братца, нет сестрички,
Нету милого дружка.
Да я, молодой, ночесь заснул
Во горе-горьких слезах...

Песни и гульбища мало утешали Федота. У себя, около Холмогор, гулянки ему казались куда веселей и завлекательней. В свободные часы он любопытства ради уходил на торжки в немецкую слободу и в гостинный двор и прислушивался там к непонятному чужестранному говору.

В Кузнечихе, на Смольном буяне, на Базарной улице, на Цеховой, на Смирной и Вагановской — всюду он подходил к приезжим мезенским, лешуконским мужикам и жонкам, подолгу рассматривал на них узорчато вышитые кафтаны и кацавейки, дивился на расписные каргопольские сани, на замысловато вытканые красноборские кушаки и на все, что привлекало его внимание своей яркостью и самобытностью.

Иногда весь воскресный день он проводил на базаре, толкаясь среди торговок, разглядывая разукрашенные берестяные туесы, деревянные ковши, рукомойники, куклы, домотканые ручки и узорчатые юбки. Он уносил в своей памяти не мало затейливых рисунков, которыми испокон веков богато рукоделие русского Севера.

И сам Федот умел уже тогда придумывать и вырезать тончайшие узоры на моржовой кости, на перламутре. Бывало, взяв морскую раковину, на выпуклой ее стороне он вычерчивал резцом камбалу или обыкновенный лист, а внутри той же раковины изображал резцом распятого Иисуса и около него плачущую Магдалину.

На большие праздники Федот с позволения строгого мастера уходил из Архангельска домой, в холмогорское куростровье, в деревушку Денисовку. Туго оноясанный красным кушаком, в овчинном полушубке, в теплой оленьей шапке и стоптанных бахилах, он через сутки пешком добирался до родной семьи, где отдыхал и отгуливался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После разговора с соседом Редькиным, Иван Афанасьевич Шубной не мог заснуть всю ночь. В просторной избе царила непроницаемая темь. В деревянном дымоходе тихо выл ветер да изредка было слышно, как в малый колокол на церкви Димитрия Солунского отбивал часы приходский звонарь. Широкие сосновые полатицы неугомонно скрипели под Иваном Афанасьевичем. Ворочаясь с боку на бок, он думал о своих житейских делах. И было о чем подумать. Он — старик в силах; два сына при нем женатые; третий, Федот, тоже накануне женитьбы. Где тут всем под одной крышей ужитья. Ну, ладно, я двух веков не проживу, — думал Шубной, — умру, в избе немного просторнее будет. Яшка и Кузька — семейные, пусть перегородку ставят, а меньшого, пока не ошалел и не вздумал женихаться, надобно подальше от дому спровадить. Эх, кабы в Питер его! Земляк-то, авось, добром меня вспомнит и, кто знает, может, к делу пристроит Федота. У парня-то золотые руки...

Многое в ту ночь передумал Иван Шубной. То он представлял себе земляка Михайлу Васильевича в далеком Петербурге, в роскошных золоченых палатах, рослого, дородного, с гладко бритым лицом, каким его обрисовал только что

вернувшийся из Питера сосед Васюк Редькин. То ему мерещился другой сосед — черносоломенный тягловый пахарь Налимов Асаф, который с неделю тому назад в холодном гуменике повесился на вожжах. Нечем было Асафу подати платить в государеву казну, жалко было сдавать на всю жизнь в солдаты любимого сына-кормильца, и решил он повеситься, чтоб сына своего от службы через это избавить...

Долго размышлял Иван Афанасьевич и надумал поступить с меньшим сыном так: пусть лето поработает в хозяйстве, осень на рыбной ловле, а зимой, по первопутку, можно его и в Питер снарядить...

На страстной неделе в субботу, поздно вечером, усталый, припелся домой Федот. Пасха в этот год была ранняя. Только начинала таять снег. На Двине и притоках стали появляться продухи.

На пасхальной неделе беспрестанно гудели колокола холмогорских церквей — и в Куростровье, и на Вавчуге. Но колоколен на всю молодежь не доставало. Ребята и девушки толпились на проталинах. На белолицых славнухах сверкали жемчугом и переливались цветом северного сияния высоко вздыбленные кокошники, топорщились на ветру крепкие домотканые китайчатые, в разноцветную полоску сарафаны. Но снег мешал еще водить хороводы. Поэтому парни и девушки забавляли себя загадками.

Федот Шубной, щеголевато причесанный, в пыжиковой шапке, в расстегнутом темносинем с бархатной оторочкой кафтане, из-под которого как бы невзначай выставялась вышивка на полотняной рубахе, щурил голубые глаза на шпиль гудевшей колокольни.

— А ну, кто знает, — спрашивал он ребят: — живой мертвого бьет, а мертвый ревет. Что это такое?..

Девушки и парни долго молчали. Тогда Федот показывал на колокольню:

— А ну, гляньте, может там отгадку сыщете?

— Колокол! — восклицал кто-нибудь из тех, кто посмекалистей.

— Верно, — кивал Федот. — А ну еще: родился — не кристался, бога на себе носил, а умер не покаялся?

Одни молчали, другие отгадывали невпопад.

— Эх, вы, несмышлениши, — глядя на соседских ребят, усмехался Федот. — Это же тот самый осел, на котором Христос въезжал в Ерусалим.

— Да ведь и вправду!

— Он и есть! — подхватывали голоса и наперебой кричали:

— А послушайте, я загану...

— Дайте-ка, я загадаю...

Федот охотно уступал место другим. Загадки продолжались.

Чуть наступали сумерки, постепенно раскланявшись в пояс с ребятами, девушки расходились по своим избам. Парни не спешили домой, до глубокой ночи шумели на улице.

В один из вечеров пасхальной недели Федоту пришла в голову озорная мысль — подшутить над холмогорским градоначальником. У куростровского охотника Федот с товарищами добыл большой кусок волчьего мяса. Мясо ребята размочили в горячей воде, а воду расплескали вокруг дома, где жил градоначальник.

Рано утром, когда холмогорские обитатели еще спали, огромная стая собак, почуяв запах зверя, осадила кругом хоромы, городского управителя. Собаки отчаянно выли и лаяли рыли когтями снег и не давали никому проходу. За градоначальника заступилась осторожная стража. Собак кое-как разогнали, так и не узнав виновников этой затеи.

Но шалости, случалось, приносили Федоту и немало хлопот.

Как-то вскоре после собачьей осады, сидя в харчевне целовальника Башкирцева и будучи в веселом настроении, Федот поспорил с одним опытным костерезом. Тот был пьян и похвалялся, что из табакерки им сделанной нюхает табак сам митрополит, а царица пудрится из пудреницы его же работы. Возможно, это была и правда, но Федот захотел его перехвастать.

— Подумаешь, удивил чем — табакерка, пудреница! А вот мы с братом Яшкой смекаем вырезать царей и князей, все родословие, и чтобы каждый царь и князь друг за дружкой на дереве были развешаны...

Чем кончился между резчиками спор — неизвестно. Но наостривший уши целовальник Башкирцев слышал неосторожные речи Федота и настроил донос.

Федота вытребовали на допрос в холмогорскую крестовую палату. Выспрашивал его по целовальниковой жалобе старый, искушенный в сыскных делах протопоп. Запись вел писарь Гришка Уховертов. После допроса епископу было отправлено такое донесение:

„Лета господня 1759 апреля в 10-й день преосвященному епископу Холмогорскому и Важескому ведомо учинилось, крестьянский сын Куростровской волости Федотко Шубной сказывал и похвалялся в разговоре в харчевиде горожанина Башкирцева, что он, Федотка, с братом Яшкой вырежут князей и царствующий дом и на дереве развешут. По указу преосвященного, будучи расспрашиван, вышеописанный Федотка Шубной в расспросе сказал: в прошлой-де неделе сего апреля он zelo не в трезвой памяти от бражного увеселения хвалился и за благо почитал, действительно, сотворить в дар царице все родословие державы Российской от Рюрика до ныне благополучно здравствующей государыни и что вырезать сие родословие вознамерился с братом Яшкой в виде барельефов на моржовой кости, поелику не подвернется слоновая по дороге своей. За сим Федотко Шубной к дому отпущен с упреждения отца протопопа. Руку приложил Гришка Уховертов“.

Домой из крестовой палаты Федот вернулся пасмурный и сказал брату Якову:

— Будет подходящая кость, будет время, ты и вырезай царей, а я тебе не помощник. Меня вон к протопопу на исповедание таскали... В эту зиму, все хорошо да здоровье, послушаюсь отца, в Питер подамся. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна...

Отказавшись от работы в архангельской костерезной мастерской, Федот Шубной сживался с мыслью уйти подальше из дому.

В эту весну семейство Шубных постигло неожиданное несчастье: Иван Афанасьевич провалился на Двине под лед, кое-как выкарабкался, но простудился и сильно заболел. Напрасно пил он крещенскую воду, напрасно лазал в печь и парился веником, над которым были нашептаны знахарем тайные слова, — ни то, ни другое не помогало. Болезнь никуда не отпускала из дому старика Шубного. Он стал сохнуть, тяжелей дышать и напоследок еле-еле передвигался по избе. Чувствуя приближение смерти, Иван Афанасьевич, пожелтевший и костлявый, снял с божницы створчатую медную икону и, прослезившись, позвал дрожащим голосом сыновей:

— Яков, Кузьма, идите-ка сюда, я вас благословлю, не долго уж мне жить осталось...

Благословив старших сыновей и пожелав им в достатке и порядке держать семью, скотину и дом благодатный, Иван Афанасьевич велел позвать к себе меньшого. Федот прибежал от соседей и, как был в ушанке и полушубке, предстал перед отцом. Старик оглядел его и сказал тихо:

— Шапку-то хотьними, шальной...

66947

Федот послушно обнажил голову, со скорбью поглядел на немощного отца, на его костлявые плечи и проговорил потупясь:

— Благослови, отец...

Тяжко вздыхая, старик Шубной трижды как-то неловко поднял медный складень над русой головой Федота и при общем молчании домочадцев вполголоса произнес слова родительского благословения:

— А тебе я, сынок, желаю и совет свой отцовский даю и благословляю: ступай в Питер, поклонись от меня Михайлу Ломоносову и скажи, что первый учитель его Иван Афанасьев велел ему долго жить... Останься там, учись, слушай умных людей, пользуйся их советами. Смелым будь, правду люби. Я жизнь правдой жил, никого не боялся. И ты так живи. Но смотри, осторожности не забывай, не погуби себя во цвете лет. Остерегайся дураков, если их затронешь, умных — если им вред причинил, и злых — если свел с ними знакомство. Будь здоров и счастлив на долгие годы...

Федот поднял голову, заметил на морщинистых щеках отца крупные слезы и сам не вытерпел — заплакал.

— А неохота умирать-то, ребята... — сказал Иван Афанасьевич дрогнувшим голосом. — Когда живешь — день кажется долог, а умирать собрался, оглянулся — коротка же наша жизнь. Ох, коротка... На-ко, Федот, поставь складень на божницу...

Умер Иван Афанасьевич поздно вечером. В сумрачной избе, освещенной горящей лучиной, густо надымили ладном. Собрались куростровские старухи и молились всю ночь. На утро обмыли покойника, обрядили в длинную холщевую рубаху и положили под образа на широкую лавку. Соседи один за другим приходили прощаться, кланялись низко и каждый вспоминал добрым словом умершего:

— Царство ему небесное, самого Михайлу Ломоносова, бывало, грамоте учил, в люди его спроводил...

— Добер старик был, простяга. Нашему брату нищему во весь каравай милостыню отрезал, царство небесное.

— Трех сынов вырастил, как три подпоры крепкие, такие хозяйство не уронят...

Федот вернулся домой с похорон в тяжком раздумье. Не раздеваясь, он полежал ничком на лавке, встал и, нахлобучив на лоб треух, вышел на улицу проветриться от запаха

ладона и забыться от надоедливых причетов плакальщиц. До потемок он просидел у Редькина.

Мысль об уходе из Денисовки в Питер теперь не давала Федоту покоя. Но как раз весна была в разгаре, а летом и осенью трудно попадать в далекую столицу. Ему пришлось терпеливо ждать до зимы, до первопутка.

Время шло быстро. У Шубных по хозяйству было много дела. За рекой Курополкой густой зеленой травой покрылись обширные заливные луга. На пастбищах отгуливались тучные коровы. Бобыли-пастухи в домотканых рубахах, в засученных штанах, сверкая коленями, бегали за резвыми телятами. Под вечер там и тут слышались переливчатые трели пастушских берестяных рожков. Сытые коровы-холмогорки и уставшие от беготни телята покорно тянулись к прогонам и, глухо брякая железными колокольчиками, заходили в бревенчатые стойла, где их ждали заботливые обряжухи...

В эти дни Федот Шубной работал с братьями, пилил и колоч дрова, пахал, сеял яровое жито и боронил рыхлые полясы. В короткие весенние ночи он в лодке выезжал на рыбную ловлю и брал на острогу крупных щук, метавших по мелководью икру.

Будни проходили в трудах и заботах. По воскресеньям — ближе к лету — становилось веселей. Смех, прибаутки, хороводы и пляски под весенние напевы слышались с полдня и до полночи. Парни и девушки, нарядно одетые по-летнему, веселились кто как хотел и кто как мог. Пригожие девушки, с позолоченными серьгами в ушах, с разноцветными лентами в длинных косах, бегали за ребятами, ловили их за вышитые подолы длинных рубах и приводили в круг. (Это называлось игрой в мышки, в горелки). В другом месте парни со своими подружками высоко подпрыгивали на досках, положенных поперек кряжей. Качели с пеньковыми бичевами на перекадинах были заняты без перерыва. Качались стоя, сидя, в одиночку и попарно.

Подальше от общего гульбища, в белых коленкорových платьях с узорной вышивкой, сверкая норвежскими перстеньками, расхаживали славнухи, время которым подходило к замужеству. У них свои были думы и песни свои:

Походите-ко, девушки,
Погуляйте, голубушки.
Пока воля батюшкова,
Нега-то матушкина.
Неравно замуж выйдется,

Неровен чорт навяжется,
Либо старый душлив,
Либо младый, не дружлив.
Либо горька пьяница,
Либо дурак-пропойца.
Во кабаке идет — шатается,
Из кабака идет — валяется.
Он со мной, молодой,
Супор речь говорит;
Разувать-раздевать велит,
Части пуговики расстегивати,
Кушачок распоясывати.
Не того поля я ягоду была,
Не того отца я дочерью слыла,
Чтобы мне да разувать мужика.
У него-то ноги грязные,
У меня-то ручки белые;
Ручки белые замараются,
Златые перстни разломаются...

Последнее лето провел Федот Шубной в родной Денисовке. Как ни весело было играть и плясать на гульбищах, рассудок подсказывал ему: надо ехать в Петербург, в люди. Там больше свету, больше простору. Только не трусь, и все будет по-твоему. Михайло-то Васильевич вон как шагнул!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сборы в дальнюю дорогу были не велики. Он взял с собою мешок ржаных сухарей, узелок костяных плашек и полдюжины моржовых клыков. Весь незатейливый костерезный инструмент — рашпелек, втиральник, пилку, сверло, стамесочку и еще кое-какие мелочи он разместил в боковых карманах. За голенища бродовых сапог спрятал самодельный нож и деревянную ложку с толстым черенком. Паспорт сроком по 1761 год бережно завернул в тряпицу и зашил в полу кафтана. Сложив мешок с дорожной снедью на воз соседа-попутчика, протрившись с родней и соседями, Федот Шубной тронулся за обозом поморов в Петербург.

Зимняя дорога из Холмогор на Петербург проходила через густые леса и выжженные подсеки Каргопольской округи, сворачивала мимо Белого озера на Вытегру, Ладогу и дальше напрямиком вела в столицу. При хорошей погоде, без оттепелей и метелей, поездка от Холмогор до Петербурга занимала целых три недели. По пятьдесят верст в день вышагивал Федот за возами. Там, где дорога спускалась

под гору, добродушный возница позволял ему вскакивать на запятки и ехать стоя. Но был и такой уговор: воз в гору — Федот и возница вместе должны помочь лошади. Тогда, встав по сторонам и ухватившись за оглобли, они оба, присвистывая и покрикивая на лошадь, помогали ей подняться на угорье.

Обоз в пятьдесят подвод тянулся по дороге неразрывной цепью. Останавливались возчики на ночлег в редких попутных деревнях. На постоянных дворах покупали сено, овес и подкармливали лошадей. Сами же мочили в студеной воде соленую треску и ели ее с подорожными сухарями. Спать ложились — одни на полати, другие вповалку на разбросанной на полу соломе. С морозу и после долгой дороги Федот спал на ночлегах столь крепким сном, что его не только можно было догола раздеть, но и самого вынести из избы, а он и не шелхнулся бы. Кражи и грабежи в дороге случались редко. Если раз в году где-либо по пути и обнаружится пришлый со стороны охочий до чужого добра бродяга, то о нем от Петербурга до Холмогор быстро проносилась дурная слава и описание всех его примет, и вор попадал на расправу и клеймение.

В пути Федот узнал от встречных, что где-то есть страна Пруссия, куда вступили русские войска и бьют армию короля Фридриха. Следом за этими разговорами дошли слухи о повсеместном наборе рекрутов. Услышав о наборе, Федот призадумался. Годы подходили как раз такие, что скоро могли дать ему в руки кремневое ружье, за спину ранец с полной выкладкой и послать воевать.

Возница приметил раздумье, омрачившее лицо Федота и, снимая с усов ледяные сосульки, спросил шутливо:

— Что же ты, Федотушко, не весел, что головушку повесил? Не по деревне ли заскучал?

Федот, тряхнув поникшей головой, ответил:

— Думаю о своем житье-бытье. Хорошим резчиком в Питере хотел прослыть, знатным персонам заказы вырезать, а тут, на-ко, война...

— Н-да-а, — протянул случайный попутчик, — солдатская служба хороша, только охотников до нее мало. Долга служба царская — ни конца ей, ни краю. А у тебя золотые руки, потому об этой службе тебе и помышлять обидно.

Подумав, возница успокаивающе сказал:

— Не горюй, парень, ты молоденец, да умен, к делу сумеешь пристроиться. Ну, а если и случится повоевать

с немчурой — тоже не худо. Наши их вон как лупят! Любодорого!

— Задиристых бить и надо, — согласился Федот, — пусть знают, что русских задевать — даром не пройдет. Ладно, послужи и я, коль придется, ведь не урод, не калека и силенкой бог не обидел. Ружье из рук не вывалится... На моржа и тюленя охотился, почему бы этими же руками пруссаков не побить?..

Чем ближе к Петербургу, тем больше попадалось встречных подвод. Степенные поморы не лезли ни с кем в перебранку, но и с дороги не сворачивали. Чуть показывался встречный обоз, возвращавшийся из столицы, они брали под уздцы своих лошадей и вели их посредине дороги, внушительно поблескивая торчавшими из-за кушаков топорами. Побаиваясь за целостность сырмятных гужей и черемуховых заверток, встречные обозники уступчиво сворачивали — они знали, что в ссору с бывальыми и вольными поморами лучше не вступать.

Среди северян поморы отличались суровым характером. Холмогорских жителей всюду называли „заугольниками“. Когда к ним в Холмогоры приезжал Петр Первый, они, потюки вольных новгородцев, прятались за углами изб, опасаясь, как бы царь не вздумал выкинуть над ними злую шутку в отместку за непокорность их предков московским царям. Петр посмеялся над их страхами и дал им прозвище „заугольники“. С тех пор прошло много лет, а прозвище за ними так и осталось. Если и можно было с кем поставить холмогорских „заугольников“ рядом, то это опять-таки с упрямыми новгородцами...

Дни становились длинней, деревни, села, усадьбы встречались по пути все чаще и чаще. Иногда в обгон по рыхлому снегу пронеслась запряженная дугом шестерка лошадей в блестящей сбруе. Форейторы со свистом махали бичами и грубо кричали на проезжих:

— Берегись, задавим!..

— Опять какого-то дьявола провезли, — грубо замечали поморы вслед барской повозке...

На двадцатые сутки обоз вступил в петербургские окрестности. По обоим берегам замерзшей Невы стояли низенькие бараки с деревянными дымоходами на крышах. В бараках крохотные оконца и обитые тряпьем двери. Около две-

рей на снегу повсюду кучи отбросов. Здесь, в пригороде, обитали тысячи рабочих людей, строивших великолепные дворцы, в которые они имели доступ пока лишь строили их.

Федот всматривался в лица прохожих и ни в ком не приметил ни искры радости, ни довольства. Люди шли усталые, словно прижатые к земле. Вот возвращается с работы в кропаном зипуне с лопатой на плече землекоп. Рядом с ним еле бредет его сынишка — мальчик лет двенадцати. Он уже помощник отцу и кормилец полуголодной семьи, оставленной где-либо около Грязовца или Белозерска. И тот и другой идут покачиваясь, в полудремотном, усталом забытье. И, видимо, единственное их желание — поскорей добраться до своего логова и уснуть. Вот, переваливаясь с боку на бок, идут артельщики вологжане, одни несут пилы, топоры, пещни, заступы; другие, крихтя, тащат на себе охапки дров и щепы, чтобы ночью кое-как согреться в холодном жилье у печки-временки.

— Куда мы едем? Где остановимся? — спросил Федот возницу, озираясь на низкие бараки и приплюснутые, занесенные снегом землянки.

— Мы подъезжаем к Набережной улице, потом свернем по льду через Неву на Васильевский остров и прикочуем в рыбные ряды, там всегда наши останавливаются...

— А где этот хваленый Невский проспект?

— Вот туда, налево, верстах в двух отсель, — отвечал бывалый помор Федоту.

Впереди обоза послышался хриплый и грубый окрик:

— Стойте! Куда вас чорт несет!

Из полосатой будки вышел навстречу головному вознице рослый будочник и алебардой загородил дорогу. После грошевой подачки он подобрел и объяснил, что по Набережной дальше ехать нельзя — там строятся новые дома, проезд завален бревнами и кирпичом, а потому надо свернуть влево, на Литейный, переехать поперек Невский, обогнуть Адмиралтейство, а там покажут прямой путь к рыбным рядам.

— Да, смотрите, по Невскому вдоль не ударьтесь. Подлым людям с возами настрого запрещено ездить проспектом, — предупредил строгий блюститель уличного порядка.

Обоз, скрипя полозьями, двинулся объездом по указанному будочником пути.

На улицах около дворянских особняков и купеческих торговых заведений бородастые служилые люди зажигали фонари.

Ямщики и кучера покрикивали на прохожих, развозя на гладких рысаках расфранченных господ.

Чем дальше ехали поморы, тем величественнее казался Петербург. Дома в два-три этажа, каменные, с большими окнами, стояли сплошной стеной.

В уюте и тепле протекала чья-то чужая, заманчивая жизнь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Федот поселился на Васильевском острове, неподалеку от рыбного рынка, в тесной клетушке у солдатки-вдовы. На табуретке около тощей деревянной кровати он приспособился со своим ремеслом. С утра до поздней ночи пилил, вырезал из кости табакерки, иконки, ухвертки и крестики. По пятницам он уходил на базар продавать свои изделия. Продажа не отнимала много времени. Не скупясь и не торгуясь, богатые бары брали нарасхват товар у неизвестного скромного костереза. Иногда покупатели спрашивали:

— Это твоя работа, любезный, или ты перекупаешь?

— Моя собственная.

— Гм... недурно... Ну, а набалдашник к трости ты можешь, к примеру, сделать?

— Могу сделать с собачьей головой, могу любого вида выточить, какой прикажете.

— А ларец для драгоценностей?

— И ларец могу.

— Можешь? Ну, так вот, молодец, вырежь-ка мне ларец, да такой, какого ни у кого нет. Понял? Какого никогда и никому ты не делывал...

И Федот уходил опять на неделю в свою конуру и трудился, изобретая новые рисунки для замысловатых изделий. Жизнь понемногу устраивалась. Заработок оказался достаточным. И Федот Шубной решил, прежде чем итти к земляку своему Ломоносову, стать „питеряком“. Он купил себе новый кафтан, поддѣвку, приобрел крепкие, пахнущие ворванью сапоги, а хозяйка сшила и вышила ему косоворотку.

Однажды в воскресный день, после обедни, Федот направился к Ломоносову. Робко подошел он к небольшому каменному дому, где квартировал Михайло Васильевич, поднялся по чугунной лестнице во второй этаж, осторожно дернул дверную ручку, потом постучал чуть-чуть слышно. В полумраке он не разглядел, кто открыл ему дверь.

Обтерев ноги о половики, Федот вошел в помещение и не успел осмотреться, как из комнаты показался гладко выбритый, улыбающийся человек. „Наверно он“ — подумал Шубной и, чувствуя, как бьется у него сердце, спросил:

— Могу ли я видеть Михайла Васильевича?

— Добро пожаловать, это я и есть! — Узковатые глаза Ломоносова блеснули приветливым огоньком. — Проходи, молодой человек, хоть я и не знаю тебя, но обличие что-то очень знакомое, наше, холмогорское. Садись, рассказывай, кто ты, чей да откуда и чем я могу услужить...

Федот на минуту оторопел. Он представлял себе знаменитого земляка совсем иным. Ломоносов выглядел очень простым, доступным и ласковым. Не было на нем ни шитого золотом красного камзола, про который он много раз слышал в Денисовке от Васюка Редькина, ни припудренных бровок. Лобастая голова Ломоносова была гладко выбрита. Лицо припухлое, нежное, не как у простолюдина. Когда Ломоносов улыбался и разговаривал журчащим голосом, подбородок его слегка вздрагивал. Одет он был запросто, по-домашнему: на нем была рубаха с расстегнутым воротом, короткие черные бархатные штаны, белые чулки и кожаные туфли, украшенные металлическими застежками.

Не выпуская из рук шапки, не решаясь сесть в кресло, Федот проговорил застенчиво:

— Я зашел к вашей милости... Я Федот Шубной, Ивана Афанасьева Шубного сын. Меня-то вы не знаете, без вас родился, а отца должны знать. Он приказал долго жить...

Тут Ломоносов широко распростер руки, крепко обнял Федота и трижды поцеловал его.

— Ивана Афанасьевича... и, говоришь, скончался старик? Давно ли?

— Второй год пошел.

— Жаль, добрый мужик был. Я ему первой грамотностью своей обязан. Да что говорить, память о твоём отце Иване Афанасьевиче, о нашей Денисовке мне весьма дорога! Часто вспоминаю места наши. В Академии книгу нынче печатал „Краткой российской летописец“, в назидание его высочеству великому князю Павлу Петровичу посвятил. И в той книге доказательство дано мною, что чудское население, бытовавшее издревле на нашем Севере, не чуждо славянскому племени и участие имеет в составлении русского народа... Писал сие и думал о Холмогорах, об истории нашего края... Любо мне, когда земляки наве-

щают. Вот на прошлой неделе с Вавчуги от корабельщика Баженина были два мастера — преотменные ребята! Семгу такую в подарок доставили — длиной в полтора аршина, жирную... Ну, раздевайся, гостенек, да смелей себя чувствуй... — Михайло Васильевич приоткрыл дверь на кухню и крикнул горничной девушке: — Маша, приготовь-ка нам кофей по-питерски, с закуской!

Ломоносов обернулся к Федоту:

— А может и водочки выпьем?

Федот смутился.

— Нет, Михайло Васильевич, не обессудьте; здесь я еще не привык, а дома отец отговаривал, молодец был, ну, я и не набивался на хмельное.

— И не привыкай. Ну, хорошо, хорошо... Маша! Только кофей.

Раздеваясь, Федот достал из кармана завернутый в тряпку самодельный костяной нож для разрезания книг.

— Вот, Михайло Васильевич, от чистого сердца примите подарочек, сам собственноручно сделал.

Дрожащими руками Федот стал неловко разворачивать тряпицу и нечаянно обронил на пол принесенный подарок. Рукоятка ножа, украшенная тонкой ажурной резьбой, отлетела от полированного костяного лезвия. Федот на минуту растерялся; он не успел наклониться и поднять с полу обломки ножа — Ломоносов опередил его и, внимательно осмотрев сломанный подарок, искренне восхитился:

— Отменная работа! Сам придумал или с чьего изделия скопировал?

— Собственной выдумки, Михайло Васильевич.

— Тем паче превосходно! — похвалил Ломоносов, продолжая любоваться на барельеф, вырезанный на рукоятке ножа, изображающий поморскую лайку, оскалившую крохотные зубки на рысь, укрывшуюся в ветвях пихты.

— Не возгордись, что хвалю, — снова заговорил Михайло Васильевич. — Сделано талантливо. У тебя прекрасно получается барельефный рисунок. На этом деле надо тебе и набивать руку. Давно ли в Петербурге и надолго ли?

— Приехал я сюда прошедшей зимой, а надолго ли — сказать не могу. По мне хоть навсегда.

— Назад в деревню не тянет?

— Не тянет, Михайло Васильевич.

— Надо учиться, Федот, надо учиться! Скажу, между прочим, не в обиду другим округам, наш север славится

добрыми, смысленными людьми. Баженинские ребята сказывали, что у них на верфи самородок объявился — корабельных дел мастер Степан Кочнев. Славные корабли строит, аглицкие и других земель мореходы диву даются. Слышал такого? А слышал еще новшество: устюжские, сольвычегодские да вологодские мужички-следопыты Америки достигли! От яренского посадского Степана Глотова мне в руки донесение попало: план Северной Америки на карту буду нанести по его, Степана Глотова, описанию. По сему же поводу стихи сочинил к печатанью:

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша достигнет в Америку держава...

И рад я, что костерезное искусство в холмогорских деревнях продолжает здравствовать. Слышал я от стариков, что при царе Алексее Михайловиче от нас из Денисовки в Москву людей снаряжали делать украшения для кремлевской оружейной палаты. Стало быть, умелые люди в Денисовке и по всему Куростровью давно ведутся. Приятно сердцу, что вот и ты, Федот, сын моего покойного благодетеля, в рукоделии преотличен. Учиться надобно, учиться! По себе я вправе судить: кто желает быть знатым, тот должен благо разумным деянием на пользу отечеству отличиться.

От похвал Ломоносова Федот еще более смутился и, поставив на середину стола опорожненную чашку, с волнением заговорил:

— За этим я, Михайло Васильевич, и в Петербург ушел из дому. В люди выйти меня и отец благословил. Учиться? Но где, у кого? Пособите, укажите, и я готов отказать себе в куске хлеба, но знания для пользы дела получить. Одно плохо, — грустно заключил Федот, — срок паспорту подходит.

Ломоносов пристально посмотрел на добродушное, но олеечаленное лицо Федота, поднялся с места и прошелся из угла в угол. Затем он поправил какие-то стеклянные приборы, загромождавшие широкий подоконник, и снова обратил внимание на рукоятку ножа.

— Ты, Федот, с понятием подарок сделал, — улыбнулся Михайло Васильевич. — Не что-нибудь, не посох, не кубок, не порошок, а нож преподнес! Есть у нас на севере примета такая: когда берут в подарок нож, то обязательно чем-то должны платить за это, иначе не к добру тот подарок.

— А я и не ведал про то, — виновато сознался Шубной.

— За добро и я добром плачу, — опять усмехнулся и ласково молвил Ломоносов. — Скажу по правде — и паспорт просроченный тебе не будет помехой. Вот эта рукоятка потянет тебя за собой. Я покажу ее Ивану Ивановичу Шувалову, заложу слово и быть тебе тогда учеником Академии трех знатнейших художеств. А благородная поморская упряжка поможет тебе вырасти в доброго мастера по классу скульптуры. Скульптуре в нашей стране и в наше время будет принадлежать первое место из всех художеств, ибо резьба по дереву, резьба по кости достигли у нас пределов высокого искусства и станут источником скорого и успешного возрождения скульптуры в России. Я говорю — возрождения — потому, что в древние времена на Руси была скульптура, быть может, раньше чем где-либо. Вспомни Киевскую Русь с ее языческими кумирами. Перун, Дажьбог, Стрибог — они были сделаны из дерева, серебра и меди русскими мастерами, первыми ваятелями, имена которых нам неизвестны. Да что Киев? На месте нашей холмогорской Денисовки, как гласит предание, на холме в ельнике, там, где теперь церковь Димитрия, стоял идол по имени Юмала. Видимо, сей кумир настолько был привлекателен, что разбойные норманны напали на капище и, перебив стражу, похитили Юмалу со всеми драгоценностями. На юге Руси до сей поры сохранились каменные поклонные кресты и каменные бабы-статуи одиннадцатого века и более ранние. А не случалось ли тебе бывать в селе Кривом нашей Холмогорской округи? Там в церкви есть деревянная скульптура Георгия, поражающего копьём дракона — вещь изумительная по выдумке и исполнению мастера. А когда я шел за обозом в Москву, то полутно был в шенкурском селении Топсе. Там неведомо с каких времен находится резная из дерева Голгофа, из пяти крупных фигур состоящая. Да мало ли на севере подобных скульптурных изображений в скитах и монастырях поморья? Не мрамор, не гранит, а дерево, покорно поддающееся топору и ножу, — вот материал, коим довольствовались в досельные времена наши северные ваятели-самородки...

— Много такого и я видел своими глазами, — сказал Федот — и нечто подобное мог бы и сам сделать.

— Верю, охотно верю, — отозвался Ломоносов, — а поучившись, сделаешь еще лучше. Не учась, говорит пословица, и попом не станешь...

Ломоносов помолчал, ласково и пылливо глядя на земляка своего. И вдруг осенённый новой мыслью, заговорил оживленно:

— В Академии художеств осенью начнется обучение. Ждут еще профессоров из Парижа, подыскивают доктора, чтобы учил познавать строение тела. Все это скоро будет. Месяца через три-четыре и ты займешь в Академии место. А пока, дорогой земляк, с будущей недели, до открытия Академии, поработай при дворце и сумей извлечь из этого пользу. Известно мне, что во дворец требуются чернорабочие, истопники и прочие для простых дел люди. Через посредство дворцовой конторы могу я тебя на некоторое время туда устроить. Для чего это надобно? — спросил сам себя Ломоносов и пояснил тут же: — Дворец дивен великолепием своим, искусствами знатнейших мастеров живописи, скульптуры и архитектуры. Присмотрись к предметам, дворец украшающим, и тогда тебе станет ясно чего недостает самобытному дарованию художника. Попасть во дворец доступно генералам, сановным лицам, знатым особам. Так вот, пока ты особа не знатная, — весело проговорил Ломоносов, — я устрою тебя во дворец истопником, но не ради того, чтобы печи топить, а ради того, чтобы ум копить. Там такое есть, чего ты и в кунсткамере не встретишь...

Они еще долго разговаривали о Денисовке и холмогорских новостях, а потом Михайло Васильевич предложил гостю пойти с ним в собственную его, Ломоносова, мозаичную мастерскую, что была построена у Почтамтского моста.

По случаю воскресенья в мастерской был всего лишь один сторож, который немало удивился появлению хозяина в неурочное время. Сторож низко поклонился Михайлу Васильевичу, посмотрел на Федота, следовавшего за Ломоносовым и, звеня ключами, открыл им двери. В светлом помещении, загроможденном досками и разноцветной каменной и стеклянной россыпью, ничего привлекательного не было. К одной из стен прислонены были полотна живописных эскизов; напротив, в наискось поставленных формах готовые отдельные части будущей мозаичной картины показывали, что в обычное время здесь кто-то кропотливо трудится.

— Тихо подается, — сказал как бы про себя Ломоносов, заглядывая в деревянные формы. — А я уже заказал отлить для картины медную сковороду весом в восемьдесят пудов...

— Что это будет, Михайло Васильевич? — спросил Федот, с изумлением глядя по сторонам.

— Большое дело, земляк. Тут года на три — на четыре работы хватит. Мои люди создают картину на века. Будет изображена Полтавская баталия: победа русского войска над шведами. Да, дело не легкое, — повторил Ломоносов, — что приобретается легко, то мало и держится, а картина эта, может быть, переживет и внуков наших...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Продолжалась война с Пруссией, шел рекрутский набор по всей стране, а Федот Шубной служил истопником при дворце, топил каминны и печи. На знакомства с лакеями, поварами и прочей прислугой он не напрашивался, был тих и скромн и не любил говорить о себе.

Работа была нетрудная. Сжечь двенадцать охапок дров, своевременно закрыть вьюшки и задвижки дымоходов, не надымить и не наделать угару во вред кому-либо из знатных персон — вот и всё, что от него требовалось. Часто дюжий холмогорский парень, сидя перед камином и шевеля кочергой догорающие головни, дивился окружающей его красоте и думал: „А ведь в Денисовке и не знают, что я царицу и ее челядь отопляю, рассказать, так, пожалуй, и не поверят. А какая тут прелесть, батюшки! Сюда бы нашего Васюка Редькина завести, обмер бы: в раю да и только“.

На украшение дворца царица Елизавета затратила много средств, собранных со всей России. Крыша дворца блестела серебром. На позолоту лепных украшений израсходовали шесть пудов и семнадцать фунтов золота. Знаменитый зодчий Растрелли на одноэтажные крылья дворца надстроил еще этаж; дворцовые стены снаружи окрасил в любимый царицей лазоревый цвет. На лазоревом фоне ярко выделялись колонны, пилястры и вьющиеся вокруг окон украшения. Над парадной лестницей возвышался огромный золоченый купол, видимый в солнечные дни из самого Петербурга.

Здесь было чему подивиться истопнику Федоту Шубному!

Дворец поражал своим великолепием даже видавших виды заморских гостей. Холмогорскому парню богатейшее убранство дворца сначала казалось не то сновидением, не то волшебной сказкой. Но помня слова Михайла Васильевича,

Федот, оправившись от первых ошеломивших его впечатлений, стал рассматривать украшения дворца не из простого любопытства, а как понимающий художник-костерез. Прочно запоминал он затейливые рисунки орнаментов и массивные позолоченные наддверники с изображением птиц и амуров; украдкой разглядывал картины, изображающие царей и цариц рядом с богами. Лионский шелк, узорчатые персидские ковры, расписные пузатые китайские вазы, художественные изделия из фарфора, мрамора, слоновой кости, бронзы и чистого серебра — ничто не ускользало от внимания любопытного истопника.

Кое-кто из дворцовых лакеев стал подозрительно поглядывать на Федота:

— Слишком парень глазеет. Не испортил бы чего или, не дай бог, не украл бы что приглянется. За такой деревенщиной глаз да глаз нужен.

Но опасения быстро исчезли. Аккуратный истопник не прикасался к роскошным художественным предметам, он только внимательно приглядывался и запоминал виденное.

Особенно привлекала его внимание одна из комнат дворца. Янтарную облицовку, заменившую шелковые обои, Петр Первый получил в подарок от прусского короля Фридриха. Петр отблагодарил Фридриха тем, что послал в Пруссию двести сорок восемь гвардейцев, каждый ростом в сажень.

Об этом обмене знала даже дворцовая прислуга. Знал об этом и Федот Шубной. И как ни любовался он зеркальными пилястрами, эмалевыми, лепными и резными украшениями, искусной рукой нанесенными на драгоценный янтарь, глазам его представлялись матерые русские солдаты, сгорбившие по жестокой воле царя свои кости в чужой немецкой земле. „И за что? За эти вот сверкающие янтарной желтизной стены! Радость и утешение царям и их вельможам добываются через горе и несчастья простых тружеников, называемых „подлыми людишками“...

„Уж не для того ли меня приспособил сюда к делу Михайло Васильевич, — спрашивал иногда себя Федот, — чтобы вызвать во мне отвращение к господам, утопающим в богатстве? Недаром он мне как бы в шутку изрек незабываемое напутствие: „Не только печи топить, но и ум копить“. Печи топить дело нетрудное, а вот с умом сладить и понять что к чему не так-то легко и просто“...

За три месяца службы истопником Федот Шубной ни разу не встречался с Ломоносовым. Он не хотел надоедать

ему. Но помня доброжелательность земляка, он готовился к встрече с ним. В свободные часы он изготовлял резной барельефный портрет Михаила Ломоносова из слоновой кости. Из всех художественных работ, какие приходилось делать ему на родине и в Петербурге, — эта была самой серьезной, кропотливой и тонкой. Ему хотелось новым подарком удивить, порадовать и еще более расположить к себе Михаила Васильевича.

В ажурной костяной раме, на плашке молочного цвета, работая малой стамесочкой, резцом и клепиком, Федот старательно изобразил Ломоносова. Великий русский ученый сидел в кресле за круглым столом, с гусиным пером в руке. Рядом глобус. Из-за полутдернутого занавеса на полках шкафчика видны сосуды. Перо в руке ученого остановилось над географической картой. Ломоносов, приподняв голову, задумчиво устремил свой взгляд вдаль. А за спиной, слева, в открытое оконце врывается ветер и распахивает штору, за окном виден уголок холмогорской Денисовки — родной дом Михаила Васильевича с крылечком и рядом заснеженная ель.

„Такая вещь должна ему приглянуться, и работенка, кажись, недурна“ — думал Федот, любуясь на свое творение.

Между тем и Ломоносов, верный своему слову, не забывал о талантливом земляке.

В дворцовую контору за подписью знатного вельможи Ивана Шувалова поступил запрос:

„...Находится при дворе ее императорского величества истопник Федот Иванов, сын Шубной, который своей работой в резьбе на кости и перламутре дает надежду, что со временем может быть искусным в художестве мастером; того ради Санкт-Петербургскую Академию художеств заблагорассуждено послать в придворную контору промеморию и требовать, чтоб вышеозначенного истопника Шубного соблаговолено было от двора ее императорского величества уволить и определить в Академию художеств учеником, где он время не напрасно, но с лучшим успехом в своем искусстве проводить может...“

Канцеляристы объявили это Федоту и крайне удивились, что грамота высокопоставленной особы не привела в восторг скромного и будто равнодушного ко всему истопника. Невдомек было канцеляристам, что радость Федота омрачена была письмом, только что полученным им с оказией от братьев Якова и Кузьмы. Братья ему писали: „...будет он,

Федот, в бегах объявлен, если о новом паспорте не подумает. Не лучше ли по добру, по здорову вернуться благовременно восвояси, а то и нам, братьям твоим, от твоей вольности туго будет...“

Федот ждал подобных вестей, но никак не думал, что они поступят столь скоро. Теперь оставалось ждать казенной бумаги, а там, чего доброго, — или этапом домой или в солдаты.

Уволившись из дворца по требованию Академии художеств, он отправился поблагодарить Ломоносова за его заботу и посоветоваться с ним.

... Стояла сухая осень 1761 года. В дворцовых парках желтели длинные аллеи берез, за ними горели яркооранжевым цветом чужеземные деревья. Дальше стоял нетронутый осенним холодком зеленый дубняк. Ровными рядами обрамляли обширный парк серебристые тополи.

Выйдя из царскосельской слободы, Федот долго любовался видом дворцовых окрестностей. Но вот он подумал о тех тружениках, которые создали такую красоту, вспомнил, что под страхом ссылки в Сибирь они не имеют права даже близко подходить к ограде парка, и сердце его сжалось от горечи и негодования.

Он отвернулся от дворца и посмотрел в другую сторону. Там, за Царским селом, Федот увидел два бесконечно длинных посада хижин, землянок и палаток, населенных тысячами работных людей. Среди них — галичане и владимирские живописцы, расписывавшие стены и потолки в дворцовых залах; тут же, в тесноте и бедности, находили себе ночной приют олонейские мраморщики и гранильщики. Вологодские землекопы размещались в подземных лагугах по соседству с растущим кладбищем, где каждый день хоронили десятки умерших от цынги. Здесь, в поселке строителей, на каждом шагу — нужда, болезни и голод, а там — за дворцовой оградой — даже над дохлыми щенятами ставили мраморные с позолотой памятники...

Старосты, подрядчики и целовальники жили на особицу, на окраине Царского села. Они распоряжались работными людьми, как скотом. Из крепостных деревень разных округов Российской державы пригоняли сюда гуртом безответных тружеников строить и украшать покои для царицы и ее фаворитов...

В грустном раздумье шагал Федот по тропинке возле прямоезжей мощеной дороги, ведущей к Петербургу. К сумеркам, усталый и полуголодный, он добрался, наконец, до столицы.

Ломоносов гостеприимно встретил земляка. Неожиданный прекрасный подарок Федота Шубного привел академика в восхищение. Михайло Васильевич взял из его рук резной портрет, строго и внимательно оглядел со всех сторон, затем бережно поставил на стол и молча восторженно схватил Шубного за плечи, стал трясти его и целовать в обветренные щеки... Успокоившись, он вытер красным платком влажные глаза и снова стал рассматривать портрет.

— Спасибо, молодой друг, спасибо! Вот удружил! И домик-то наш, и елочка — все на месте! А ведь главное, ни словом не обмолвился, взял да молчком и сделал. Вот это, действительно мудро! Так и впредь поступай — не хвастай заранее, что намерен сделать, ибо не достигши хвалиться нечем, а достигши — не за чем. Другим же хвалить, как мне к примеру, невозбранно... Да ты почему такой запечаленный? Какая тоска грызет сердце твое?

И, узнав о письме от братьев Шубных из Денисовки, Ломоносов, небрежно махнув рукой, стал его успокаивать:

— Не стоит голову клонить, — сказал он, — поморам не к лицу сгибаться от дум. На пути твоём много будет препятствий — пугаться их не следует. У тебя хорошая защита — талант. Это первое. А второе — попечитель Академии Иван Иванович Шувалов — человек с головой. Я ему о тебе скажу, чтобы в обиде ты не был. Мне в твои годы куда трудней было: за поповича себя выдавал, гроши на прокорм уроками выколачивал. А насмешек-то сколько претерпел! Боже ты мой! Помню, в Москве среди учеников выше меня ростом никого не было. Так обо мне говорили: „смотрите, какой болван, а латыни учится!“ Хотел было попом стать и ехать на приход, то-то бы глупость великую сотворил! Да, я познал, наконец, счастье в науках, но ведь я знал и горе. Нужда не могла меня согнуть. Злые люди, бездарные лиходеи и невежды да немцы проклятые и посейчас мне пакостят. В тягость, говорят, нам Ломоносов. Однако, зная свою справедливость и пользу, принесенную мною Российскому государству, я не согнусь перед дураками и мерзавцами!

Слова Ломоносова оживили Федота. Он облегченно вздохнул и сказал:

— Одного боюсь, изловят меня, как беглого, и поминай как звали.

— В Академии не тронут, — заверил Михайло Васильевич. — Бояться тебе нечего. И, как знать, пока от Денисовки до сената идут розыски, ты успеешь состариться (не дай бог, умереть), таковы расторопные слуги в наших российских канцеляриях. Чем выше, тем труднее суть дела постигнуть. Понадеемся на лучшее: доколе ищут беглого чернососного пахаря и помора Федота Шубного, он, Федот Шубной, с успехом пройдет нелегкий путь от истопника до академика. Учись, друг мой. Богатые учатся тому, как богатство употреблять для себя с пользою, а такие, как ты, должны постигать науки, чтобы народу быть полезными...

Ломоносов подошел к шкафу, переполненному книгами, достал одну из них, в кожаном переплете, и, перелистнув несколько страниц, прочел длинную фразу по-гречески и затем сказал Федоту:

— Вот древние мудрецы что говорили: благомыслящий бедный человек, старайся дойти до высших чинов, дабы братьям твоим добро делать, а злодеям мешать делать зло... — Он закрыл книгу и, поставив ее на свое место, добавил: — Запомнить надлежит такое и приводить в действие...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Академия художеств временно помещалась в деревянных домах, арендованных у частных владельцев. Дома снаружи были оштукатурены и выбелены. Внешне они ничем не отличались от каменных, занимали целый квартал и выходили фасадами на Неву. Напротив, через Неву, раскинулось Адмиралтейство. За Мало-Невским рукавом выпирали из Невы тяжелые серые стены Петропавловской крепости. Золоченый шпиль соборной колокольни высился над городом, рассекая мрачный, осенний небосвод.

Город рос с невиданной быстротой. Вырастали кварталы и целые улицы сплошь каменных дворянских особняков, казенных зданий и купеческих домов. Насаждались сады, парки, бульвары. Возводились плывучие мосты и бревенчатым свайником укреплялись берега Невы, Невки, Мойки и Фонтанки.

Архитектор Кокоринов поспешно готовил чертежи нового здания Академии художеств. Но время не ждало — нужны были

чеканщики, резчики, лакировщики, литейщики, живописцы-художники, скульпторы и архитекторы. Поэтому, не дожидаясь, когда возведется на Васильевском острове здание Академии, еще год тому назад начали в арендованных домах обучение искусствам лиц, подающих надежды. Три „знатнейших художества“ значились в программе Академии: живопись, скульптура и архитектура.

В ненастный ноябрьский понедельник к указанному сроку пришел Федот Шубной в Академию. Его фамилия не то ошибочно, не то нарочито, по соизволению куратора Академии или самого Михаила Ломоносова, была изменена. С сегодня он стал — Шубины м. Ему, как и всем ученикам первогодникам, выдали форменную одежду — два платья, праздничное и будничное, фунт пудры на полгода, коробку помады с кистью для прихорашивания лица и шелковую трехаршинную ленту в косу.

На другой день после молебна все прошлогодние ученики и новички, одетые в академическую форму, выстроенные по ранжиру в две шеренги, стояли вдоль набережной и слушали слово попечителя Академии Ивана Ивановича Шувалова. Из его речи ученикам стало понятно, что Академия должна и будет готовить художников на благо государыни и России, дабы в истории искусства не осрамиться перед другими державами. И еще Шувалов говорил о добродетели учащихся: надобно бога бояться, государыню почитать; талант — дело само собой подразумеваемое. Но художник — лицо особенное, одержимое в мыслях и чувствах верой в свои силы.

— Те из вас, кои удостоятся высоких наград в Академии, — говорил Шувалов, — окончив оную, будут посланы в Париж и Рим обогащать свой опыт и знания на великую пользу. Желание быть знатным, желание отличиться достигается благоразумным деянием. Заломните, что изящные художества кто постигнет в совершенстве, тот будет иметь доступ к самой государыне...

Он говорил долго.

Быть может, и еще продолжалась бы речь Шувалова, но хлынул холодный осенний дождь и заставил красноречивого оратора поспешить. Он торопливо сказал еще несколько добрых слов о профессорах Академии, об архитекторе Деламоте, скульпторе Николае Жилле и других, после чего представил ученикам директора Академии Кокорина и потребовал от всех учащихся беспрекословного подчинения учи-

телям. Затем ученики были отпущены. Попечитель Академии, о котором Федот мельком уже слышал от Ломоносова, многим ученикам показался человеком невысокомерным и заинтересованным делами и благополучием доверенного ему императрицей заведения.

— А попечитель-то у нас, кажись, не самодур, с правильной душой человек, хотя он и высокого звания, — осторожно высказался Шубин в беседе с одним товарищем.

— Не торопись хвалить, чтобы не стыдно было хаять. Все они мягко стелют, да жестко спят. Я здесь пребываю второй год в учениках, а хвалить его воздержусь, потому как и вижу-то его всего лишь первый раз. От своего отца слыхивал: хвалить надо сено в стогу, а барина в гробу...

Говоривший, ученик по классу скульптуры Федор Гордеев, был года на четыре моложе Федота. Он посмотрел на новичка Шубина немного свысока и, продолжая возражать ему, добавил:

— Вот как доучишься до розог, тогда и попечителю споешь другую славу.

— А разве здесь порют? — удивился Федот.

— А ты что думал? Не всех, конечно. Но коли провинишься, не обессудь — всыплют, да еще как!

— Но ведь это Академия, а не крепостной двор!

— Розги, батенька, одинаковы, что на конюшне, что в Академии, — вразумительно пояснил Гордеев. — Мой отец их в молодые годы испробовал у помещика, а я здесь.

— Кто же твой отец? — поинтересовался Федот, проникаясь уважением к товарищу и желая поближе с ним познакомиться.

— Бывший крепостной, теперь скотник дворцовый и страшный пьяница, но зато не дурак, ибо дети дураков в нашей Академии — редкость.

Сказав это, Гордеев не стал больше разговаривать и убежал куда-то, оставив Шубина в грустном раздумье. Сказанное Гордеевым о применении телесного наказания в Академии рассеяло в нем те добрые чувства, которые было возникли после речи Шувалова. Потом, вспомнив отзыв Ломоносова о Шувалове и то, что он сам попал в Академию по его милости, подумал: „Все-таки не из лихих он, поелику Михайло Васильевич с ним знается“.

Общежитие учеников находилось вблизи от учебных помещений Академии. Вечером, после незатейливого ужина, Федоту показали деревянную койку с соломенным матрацем,

подушкой и одеялом грубого солдатского сукна. Раздевшись, он лег в холодную постель и, взволнованный, долго не мог заснуть. В одной половине общежития раздавалось громкое храпенье, в другой — слышались споры о том, что важнее в Академии: талант или добродетель? Спорившие разделились поровну. Молодой и задирчивый Гордеев, сторонник „талантов“, сказал в шутку:

— Давайте разрешим спор так: спросим нашего новичка Шубина, благо он еще не спит, к которой стороне он присоединится...

Федот поднялся на постели и горячо заговорил:

— Не всегда бывает тот прав, на чьей стороне больше спорщиков; прав тот, кто понимает настоящую правду. Если вы не имеете призвания к искусствам, то с вашей добродетелью место не здесь, а в монастыре.

Гордеев подскочил на месте и захлопал в ладоши.

— Ого! Из новичка, братцы, толк выйдет!

Один из „добродетельных“ спорщиков, желая одернуть Шубина, подошел к его кровати и показал на небрежно разбросанную одежду:

— Хотя ты и „талант“, а все-таки амуницию научись перед сном прибирать. Взгляни, как у людей она сложена!

Федот не стал возражать. Он молча поднялся с постели и начал бережно складывать на табуретку казенную одежду. На низ он положил свернутый зеленый кафтан обшлагами наружу, на кафтан — замшевые штаны и верхнюю рубашку без манжет. Башмаки с пряжками и чулки сунул под кровать. Оставалось прибрать длинную тесемку, назначенную для подвязывания косы. Федот никак не мог догадаться, как и куда ее следует положить. Выручил Гордеев: он смотал тесемку вокруг двух пальцев трубочкой и спрятал к нему под подушку.

В Академии существовало строгое правило: никто из учеников не мог видаться с родными и близко общаться с посторонними людьми. От будущих художников и скульпторов требовалось беспрекословное служение запросам двора и вельмож. Вот почему ученики Академии по внутреннему правилу воспитывались в отчуждении от горестных людских будней...

Классом скульптуры ведал французский скульптор профессор Николая Жилле. Он был в отношениях с учениками сух. В молодости учился Жилле в Парижской академии, а затем много лет — в Италии у выдающихся мастеров.

С первых же дней учения между Шубиным и Гордеевым возникли дружеские отношения.

Сын дворянского скотника, Гордеев, юркий, но не весьма прилежный ученик, менее старательный, нежели Шубин, скоро понял, что ему по пути с холмогорским костером больше, чем с кем-либо другим. В Шубине он приметил творческие способности, честное отношение к товарищам, умение понимать и ценить дружбу.

Несмотря на запреты Академии, приятели в свободное воскресное время тайком отлучались в город. Они уходили на Рыбный рынок, где не так давно Шубин сбывал свои изделия, и там присматривались ко всему, что только могло их заинтересовать. Иногда, осмелев, уходили и дальше, до Гостиного двора. Обойдя Зеркальный ряд и Перинную линию, они заходили в единственную в ту пору в Петербурге книжную лавку и здесь то перелистывали популярный, с предсказаниями, календарь Брюса, то с увлечением рассматривали лубочные картинки с видами монастырей и первопрестольной Москвы, то портреты знатных персон.

Наглядевшись вдосталь, они уходили, провожаемые неодобрительными взглядами книгопродавца.

— А знаешь что, Федор, — сказал Шубин Гордееву, возвращаясь с одной из таких прогулок, — учусь я с охотой, но всегда боюсь, выдержу ли до конца? Строгость у нас прямо монастырская, будто мы не от мира сего: никуда не ходи, знакомств на стороне не заводи... Да что это такое? Не люди мы, что ли?

— Тебе с холмогорской закваской это, вижу, нелегко дается, — усмехнулся в ответ Федоту Гордеев. — А ты знай терпи. Старики говорят: терпение и труд все перетрут. — Гордеев невесело добавил: — Как бы только прежде нас самих в Академии в порошок не стерли...

— Вот этого-то и я боюсь, — признался Шубин, перелезая через высокий досчатый забор во двор Академии.

— А чего тебе бояться? — спросил Гордеев, очутившись вслед за Шубиным на дворе среди поленищ.

— У меня, брат, характер такой, если свистнет надо мной розга, — в Академии и духу моего не будет. У нас там, в холмогорской округе, народ на государевой земле за подать трудится, к розгам мы не привыкли, и с торгов, как телят, людей у нас не продают. Опять же скажу, не по моему вкусу уроки многие в Академии... Лепи то, чего в жизни не бывало. Тут я, кажется, с учителями не полажу...

Вскоре выяснилось, что о розгах Шубин беспокоился напрасно. Прилежание в учении и способности ограждали его от телесных наказаний.

Шубин всегда пробуждался раньше всех в общежитии и, зажегши сальную свечку, читал ничего не пропуская из того, что требовалось знать ученикам Академии. Днем все его время занимали лекции, живопись, лепка.

В класс скульптуры сквозь промерзшие решетчатые окна сумрачно просачивался свет. Запах дыма от печки смешивался с запахом сырой глины. Ученики молча копировали африканскую царицу Дидону, сидящую на костре. Модель Дидоны вылепил сам Жилле и хотел, чтобы ученики ему подражали. Он ходил вокруг своих питомцев и внимательно следил за их работой. Дидона многим не удавалась. Ученики, чувствуя близость строгого учителя, волновались и оттого работа у них не клеилась — капризная Дидона не поддавалась точному воспроизведению.

Когда Жилле подошел к Шубину и пристально посмотрел на его работу, он заметил, что Федот лепит царицу как-то неохотно и хладнокровно. Между тем, статуэтка в его руках оживала.

Профессор сдержанно похвалил Шубина.

В перерыве между уроками Федот подошел к Жилле, окруженному учениками, и обратился к нему:

— Господин профессор, прошу прощения, но я весьма равнодушен к царице Дидоне. Позвольте мне к предстоящей ученической выставке сделать что-либо не из древней мифологии, а по своей собственной выдумке.

— Разумно ли такое своеволие будет? Не слишком ли вы самоуверенны? Вам еще надо лепить и лепить с греческих мастеров, — ответил Жилле, в раздумье оглядывая слушающих учеников.

Федот не согласился с ним, но не хотел и упрашивать его. С той поры он и Гордеев еще чаще стали тайком отлучаться из Академии. Они нередко приносили с собой карандашные зарисовки, показывали друг другу и с горячностью их обсуждали. Товарищам по общежитию было невдомек, что приятели, отлучаясь из Академии, готовились к первой ученической художественной выставке. А когда подошло время выставки, Шубин и Гордеев совместно обратились к Жилле с просьбой разрешить им приготовить статуэтки по своему замыслу и показать их на выставке.

Жилле подумал и согласился.

— Допускаю как исключение, — сказал он. — Посмотрим, что из этого выйдет. Заранее скажу: на успех не рассчитывайте.

Но приятели об успехе не задумывались. Им только хотелось показать свою творческую самостоятельность и доказать, что они могут обойтись без штампа и подсказа со стороны.

Довольные благосклонным разрешением профессора Жилле, Шубин и Гордеев с большой охотой принялись за дело. Гордеев уединялся иногда в закрытые классы и тщательно лепил по своей зарисовке „Сбитенщика со сбитнем“. Пока он над ним трудился, Шубин успел сделать две статуэтки: „Валдайку с баранками“ и „Орешницу с орехами“. Статуэтки его (он и сам это понимал, и Гордеев чувствовал) отличались от „Сбитенщика“ далеко не в пользу Гордеева. И здесь было начало конца их непродолжительной дружбы.

Зависть к Шубину до поры до времени Гордеев затаил в себе.

На выставке в апартаментах Академии Шубин стоял около входа и наблюдал за посетителями, подходившими к „Валдайке“ и „Орешнице“. Им овладело волнение и беспокойство, хотелось отгадать, уловить впечатления посетителей, которые с таким недоумением останавливались и подолгу смотрели на его скромные творения.

Профессор Жилле, высокий, с продолговатым лицом, в кафтане черного бархата, в кружевном жабо на тонкой длинной шее, расхаживал тут же. Он приметил Шубина и, подойдя к нему, снисходительно заговорил:

— Ваши статуэтки преотменно удачны, их замечают, но вряд ли кому заблагорассудится их приобрести. Такие вещи не в моде. Вы забываете вкусы публики и веяния Франции.

Федот посмотрел прямо в глаза своему учителю и, ни мало не смущаясь, ответил:

— Господин профессор, я знаю, пламя костра, подогревающего Дидону, приятно действует на тех ценителей искусства, которые не привыкли и не хотят видеть изображенных в художестве „подлых людишек“. Но я и не рассчитываю на успех, я только наблюдаю. Однако посмотрите, господин профессор, как внимательно рассматривает мою „Валдайку“ вон та миленькая голубоглазая девочка...

Жилле обернулся, посмотрел из-под седых нахмуренных бровей в сторону девочки и, как бы чему-то удивляясь, пробурчал себе под нос:

— Эта девочка — сестра нашего директора Кокоринова. Она еще ребенок, и ваши статуэтки, вероятно, привлекают ее, как изящные безделушки-игрушки...

— Судите, как хотите, — отвечал Шубин, — но я об этих вольных композициях имею свое мнение и очень сожалею, что господину профессору мои вещи кажутся двойко: то преотменными, то безделушками...

Профессор что-то хотел ему возразить, но в это время подошел к ним Кокоринов с сестренкой, облюбовавшей „Валдайку с баранками“. Показывая на девочку, Кокоринов улыбнулся и сказал:

— Вот стрекоза! Осмотрела все ученические работы и просит меня купить ей эту самую торговку кренделями. Попробовала да и только! Сколько стоит статуэтка? — спросил Кокоринов, доставая из кармана кошелек с деньгами.

— Ничего не надо, — смущенно ответил Федот. — Пусть это будет ей от меня подарок, на память.

Девочка выкрикнула: — Мерси! спасибо! благодарю! — и вприпрыжку побежала к статуэтке.

— Хорошенькая девочка, — сказал Шубин, — пусть потешится! — И добавил сокрушенно: — Жаль, что „Валдайка“ из гипса, такая забава недолго продержится...

— Верочка не ребенок. Ей уже двенадцать лет, из них семь она учится и уже владеет французским языком лучше моего. Эту статуэтку она сумеет сохранить, — ответил директор Академии.

Верочка вернулась к ним с „Валдайкой“ в руках. Она торжествовала и не спускала глаз со статуэтки.

Обе статуэтки Шубина на выставке в отзывах посетителей и со стороны комиссии получили одобрение. Это его радовало. Но огорчало другое: с бывшим приятелем Гордеевым у него после выставки сразу же возникли натянутые отношения. Вспыльчивый и завистливый, Гордеев выбросил в окно со второго этажа своего „Сбитенщика“. Гипсовые осколки разлетелись по мостовой. Разбилась и дружба его с Шубиным. Если когда и разговаривал теперь Гордеев с Федотом, то нехотя и смотрел куда-то в сторону. Товарищи, замечая это, говорили:

— Не быть дружбе, разные они люди, Гордеев — гордец не в меру, а у Шубина хоть нрав и мягкий, шубной, он товарища словом не обидит, но в деле никому не уступит.

Однажды, вскоре после первой академической выставки, ученики под надзором классного наставника целый день

осматривали экспонаты в Кунсткамере, находившейся неподалеку от временных построек и домов, арендованных Академией художеств. Когда они по выходе из Кунсткамеры построились по три в ряд, чтобы отправиться в Академию, опираясь на крепкую палку, подошел Ломоносов. Наставник по просьбе Михайла Васильевича разрешил Шубину выйти из строя и быть до десяти часов вечера свободным.

По рядам прошел шопот:

— Ломоносов, Ломоносов! Смотрите-ка, с Шубиным здоровается и запросто разговаривает...

— Да они земляки, — небрежно сказал Гордеев. — Кабы не Ломоносов, так Шубину не учиться, резал бы гребешки да ухвертки и торговал бы на три копейки в день!

На Ломоносове был парик и шляпа с широкими полями. Из карманов поношенного камзола торчали свертки бумаг.

— Ай, дружок, нехорошо! Почему не зайдешь, не поведаешь, каковы твои успехи? Может жалобы есть? — И, взяв за руку Федота, Ломоносов повел его к Исаакиевскому мосту. — Пойдем-ка, прогуляемся. Меня проводишь, город посмотришь и поговорим малость. Так почему же ты не зашел ни разу ко мне, как в Академию попал?

— Простите, Михайло Васильевич, но я не хотел утруждать вас своими посещениями и придеркивался мудрого правила: приближаясь к знатым, проси кратко, говори мало и удаляйся поскорей. И еще сказано: не должно полагаться на вельмож, как не должно полагаться в зимнюю стужу на теплую погоду. Надо полагаться на себя...

— Но ведь я-то не вельможа! Ученый — да. Имение есть? Да, есть. Но дух-то человеческий, поморский, никакой ветер из меня не выдует. Нет, ты меня навещай, навещай!

По досчатому пологому настилу они вышли на Исаакиевский наплавной мост. Двадцать барж в ряд стояли поперек Невы, на бревна, прикрепленные канатами к баржам, ровными рядами были уложены широкие толстые доски. По ту и другую сторону моста на рейде покачивались груженные всякой снедью парусные суда. По мосту цепью тянулись подводы. Дроги и телеги с кладью, двигаясь по пустым баржам-пontonам, грохотали раскатисто и непрерывно; крики возчиков, топот лошадей — все сливалось в один гул. И целый день, до развода моста, этот гул стоял над широкой рекой.

Ломоносов и Шубин вышли на середину моста. Остановились, огляделись вокруг. Впереди, на площади, высилась

рядная церковь Исаакия; по сторонам, справа — здание Сената; слева из Невы полуостровком выпирал каменный редут с двенадцатью пушками. За редутом — Адмиралтейство, к нему еще не прикасалась рука архитектора Захарова, и оно смыкалось с Невой, как судоверфь с судами, наклонно стоявшими на стапелях и почти готовыми к спуску на Неву.

— Я люблю Петербург! — заговорил Ломоносов, положив руку на плечо Федота. — Он только на восемь лет меня старше, а гляди, какой бурный, весь в движении и в росте красавец! Шестьдесят лет тому назад, в Троицын день, Петр Первый, на острове, где стоит Петропавловская крепость, положил каменную плиту с надписью, говорящей об основании города. Старики сказывают, будто в тот миг орел кружил над государем и Петр видел в этом доброе предзнаменование. Наш народ не скуп на легенды, а быть может, это так и было... Мне недолго жить осталось, но я вижу город другим, каким он должен быть к твоей, Федот, старости. И сенат, и адмиралтейство, и дворцы, и улицы многие, и сады, и каналы — все будет заведено заново, в большем величии и великолепии. На месте Исаакиевской церкви будет другой огромный собор — самому папе римскому на зависть. И еще замышляется создать чудный монумент Петру Великому... Город возвеличится над всеми городами Европы! Тяжело достанется мужицким плечам, ох, тяжело! Ты, Федот, в Царском селе приметил, сколько смерть подкашивает людской силы?

— Много, Михайло Васильевич, очень много. Не оберегают мужика, не дорожат им. Если бы харч хороший да врачевание было, меньше бы людей ггло.

— Да, а безымянный русский богатырь, не взирая на тяжести, строит и строит на века...

Разговаривая, они дошли до квартиры Ломоносова. Здесь Шубин хотел было распрощаться с ученым земляком, но тот крепко ухватил его за локоть и протолкнул в калитку.

— От ворот поворот только недругам бывает. А ты мне кто? Ну, то-то же, ступай... да и впредь не обходи мимо.

Шубин повиновался. В дружеской беседе за столом, заставленным кушаньями и напитками, как свой своему, доверчиво и откровенно, Федот рассказал Михайлу Васильевичу о своем пребывании в Академии художеств, об успехе на выставке и попутно не скрыл того, как один приятель из зависти к нему стал ненавистлив.

— То ли бывает! — грустно усмехнулся Ломоносов. — В наше время хорошего друга нажить не легко. Зависть, она если в ком заведется, покоя от нее не жди. Зависть дружбе прямая помеха.

— Да и без друзей жить трудно, — промолвил Шубин. — Недаром говорится: там, где берутся дружно, не бывает грузно.

— Я пожил на свете твоего дольше и людей встречал больше, — продолжал разговор Ломоносов. — Могу тебе такой совет дать, да и древние философы то же подсказывают, как вести в обществе с друзьями должно. Ты молод, и путь предстоит тебе дальний. Друзей должно выбирать с оглядкой, а выбравши и узнав в человеке приверженного к тебе друга, не смей подозревать его в неверности, будь сам доверчив, справедлив и откровенен, иначе дружба не мыслится... Спрашиваешь, как познать доброго друга? Изволь, и это скажу: друг верный познается в твердости и безупречности и в том еще, что он на правильный путь всегда тебя наставляет. И еще скажу тебе, Федот Иванович, Питер — забалуй-город, остерегайся людей негодных, распутных и разгульных, дружба с таковыми опасна и не нужна...

— Спасибо, Михайло Васильевич, за доброе слово. Буду помнить...

Шубин посидел еще немного, потом взялся за шляпу, и сказал, кланяясь: — Прошу прощения, Михайло Васильевич, не буду отвлекать вас больше от трудов полезных и благодарствую...

Но Ломоносов опять усадил его в кресло против себя, заметив, что до десяти часов вечера времени еще много.

— Так, говоришь, ты на выставку вместо Дидоны „Валдайку“ представил? Озорно, но похвально. Настоящее искусство не должно иметь границ. Имея здравый смысл, надлежит творить и трудиться сообразно рассудку. Бойся праздности, а равно и тщеславия, ибо всякий в праздности живущий есть бесплодный бездельник; тщеславие же враг рассудка. Правду люби, не досадуй, когда она высказана прямо в глаза. По делам твоим вижу: через трудолюбие и науки разовьешь свой талант и вдохновение и достигнешь многого. Но запомни, друг мой: талантливому человеку для пользы дела нужно жить воздержанно от соблазнов и быть здоровым. Здоровье — великое сокровище. За деньги оно не приобретается... За этот год недуг стал одолевать меня. Без палки я уже не ходок — в костях ломота. Чуть дам мыслям от-

дохновение, в голову приходят милые сердцу картины — Холмогоры, Матигоры, Архангельской-город. Появляется желание путешествовать на Белое море, а то и далее, к берегам Норвегии. Да послушать бы песен тамошних, да бы-вальщины поморских... Эх, старость не радость, как ты рано пришла! А недруги мои радехоньки знать о моем ослаблении физическом, сплетни в Академии пускают, дескать, спиртные напитки довели Ломоносова до болезней! Чепуха и ложь! Пусть они мне скажут, кто из них на белых медведях, на моржей, на тюленей хаживал?! Кто из этих невоздержных болтунов в ледяной воде купался?! А я всё испытал! Вот откуда недуги мои происходят... — Помолчал и добавил более спокойно: — Лет бы десяток еще пожить, потрудиться на благо родины и потомков наших...

После этой встречи, происходившей весной, Федот Шубин до осени не видел Ломоносова. Михайло Васильевич уезжал на лето в подаренное ему имение, состоявшее из двухсот одиннадцати крестьянских душ. В октябре он был приглашен на торжественное заседание Академии художеств. Ему присвоили звание почетного члена „Академии трех знатнейших художеств“. Ломоносов выступил с ответной речью.

Шубин видел его тогда последний раз.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Чем дальше учился Федот Шубин в Академии художеств тем с большим успехом он совершенствовался в скульптуре и портретной живописи. И чем дальше учился, тем ему было заметнее, что должно стать ему ваятелем, нужно только стараться, настойчиво и упорно перенимать от учителей своих все полезное.

В Петербурге Академия художеств существовала всего три-четыре года; в Париже, откуда прибыл Жилле, Академия художеств, основанная в 1530 году, за двести тридцать лет существования пропустила через свои классы множество живописцев, скульпторов и архитекторов. Из среды их вышел целый ряд прославленных художников. Жилле, умудренный педагогическим опытом, владел стройной системой преподавания и пользовался уважением учащихся. Младшие ученики на первых порах занимались бесконечным копированием с гравюр. Затем Жилле переключал их на лепку фигур и орнаментов, и опять упражнениям не было конца,

и только после того, как были приобретены твердые навыки, допускал учащихся к работе с натуры. Более способных и одарённых учеников Жилле выделял, ставил их в особые условия и разрешал лепить композиции по своему усмотрению, но чтобы это „усмотрение“ не выходило за рамки сюжетов древней истории.

Четыре года учился Федот Шубин в Академии художеств. Он изучил живопись, скульптуру, языки — французский и итальянский. За успехи в науке и за скульптурные работы он получил в Академии две серебряных медали и одну золотую. Последняя награда давала ему преимущество — продолжать учение в Париже и Риме. Другие ученики стремились достичь высоких наград за выполнение программных работ на мифологические темы. Федот Шубин и на этот раз остался верен себе. Он создал барельеф, изображающий „великого князя Игоря малолетнего и его вельможу Олега, пришедших для отнятия киевского княжества у Аскольда и Дира“.

— Ты, Федот, против ветра идешь, — не без упрека говорили ему товарищи. — Почему бы не угодить вкусам учителей и других знатных персон?

— А я этого не делаю потому, — отвечал Шубин, — что мои работы будут смотреть и судить на экзамене не одни французы. А что касается русских персон, то я не представляю себе, кто из них не имеет чистосердечного пристрастия к историческому прошлому Руси. А потом, — добавил он, вспоминая чьи-то наставления, — если наша Академия упражняется в воспитании добродетели, то не лучше ли ради этого изображать великих людей из истории своего отечества и через это умножать любовь к родине? Но художественные предметы исторические делаются не только руками, но и головой, не поразмыслив над историей, можно легко изуродовать ее лицо.

Перед тем как приступить к выполнению исторического барельефа, Федот Шубин долго изучал историю древней Руси. Товарищи всегда дивились способностям и настойчивости Федота и, чтобы чем-то оправдать свою отсталость, судачили:

— Что Шубин, ему легко и просто, у него за спиной Ломоносов!

Но вот уже больше года прошло с той поры, как Ломоносова не стало; Шубин оплакал кончину своего великого земляка, но не упал духом. Он часто вспоминал его добрые

советы и мысленно сам себе отвечал на них: „Упрямку сохраню, тяжести все перенесу, а своего достигну“.

Федор Гордеев в учебе и мастерстве далеко отстал от Шубина, дружба их давно уже была забыта. Вместе с Шубиным собираться ему за границу не пришлось. В тот год Академия художеств из всего выпуска смогла выделить учиться в Париж только троих: архитектора Ивана Иванова, живописца Петра Гринева и по классу скульптуры Федота Шубина.

Ни с кем так не хотелось Шубину поделиться своей радостью, как с Михайлом Васильевичем. И не было ни одного дня, чтобы он не вспоминал о встречах с Ломоносовым. Он из слова в слово помнил его добрые советы и ясно представлял себе образ великого ученого. Не раз он изображал Ломоносова кистью и резцом, стараясь запечатлеть облик любимого им человека, так много сделавшего для отечества. И горестно ему было вспоминать день похорон Михайла Васильевича. Он, как земляк провожал тогда Ломоносова в последний путь. Слезы родственников и друзей и тут же злорадство в разговорах недругов не выходили из памяти Шубина...

Это было весной 4 апреля 1765 года, на второй день пасхи. В общежитиях Академии художеств быстро распространился слух:

— Умер Ломоносов...

А императрица „отметила“ день смерти Ломоносова открытием в Петербурге первого частного театра для простой публики и первым спектаклем...

Театр был в полном смысле „открытый“, он был построен без крыши на пустыре за Малой Морской улицей. В постановке комедии Мольера участвовали доморощенные актеры из мастеровых разных цехов.

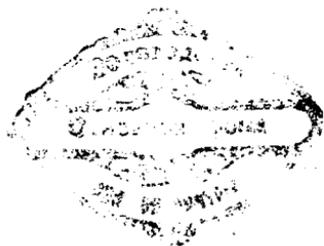
Федот Шубин и многие ученики Академии имели билеты на представление. Но никто из них не решился идти на увеселительное „позорище“ в день смерти великого русского ученого. В Академии наук и в Академии художеств люди, знавшие и любившие Ломоносова, переживали тягостную утрату.

До отъезда в Париж после окончания Академии оставался почти год. Трое счастливицков не тратили времени зря. Они еще с большим усердием занимались каждый своим искусством и настойчивей продолжали изучать языки — французский и итальянский.



А. М. Голицын.

Гипсовый бюст работы Ф. Шубина.
Государственный Русский музей (Ленинград).



Зимой из холмогорской Денисовки опять пришли неприятные вести. Братья Яков и Кузьма жаловались Федоту на свою жизнь: „...подушный оклад тяжел, пожню Микифоровку песком в весенний паводок замело, коровам корму на зиму недостает. Пашпортов на отход из деревни волость не дает, а его, Федота сына Шубного, в бегах объявили, разыскивают...“

Шубин, прочтя письмо, опечалился. Аттестат об окончании Академии с привилегией „быть с детьми и потомками в вечные роды совершенно свободными и вольными“ еще не был получен.

Что делать? Он подал прошение в Академию, умоляя заступиться за него и сообщить в архангельскую губернскую канцелярию, чтобы его не беспокоили и братьям в Денисовке в выдаче паспортов не отказывали. Началась бесконечная переписка. Академия написала в Архангельск. Архангельская губернская канцелярия — в Академию и в Сенат, а Сенат положил переписку в долгий ящик.

Дело о беглом крестьянине Шубном Федоте временно заглохло. А разыскиваемый Шубной Федот вскоре получил аттестат, дававший ему вольность и полную независимость от своих преследователей. И тогда Шубин вздохнул свободно. Теперь уже не было основания бояться ему за свою судьбу. Он словно бы вырос и почувствовал крылья за своими плечами.

И первой, кто его от души поздравил с вольностью и предстоящей поездкой за границу, была Вера Кокоринова, узнавшая об этом от своего брата. Внимание и сочувствие такой особы, уже ставшей к тому времени обаятельной барышней, Федоту было весьма приятно.

По указу императрицы Екатерины был ему выдан и заграничный паспорт с большой государственной печатью на красном воске:

„Божиею милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица Всероссийская и протчая и протчая и протчая.

Объявляем через сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель сего наш подданный Федот Иванов сын Шубин отправлен из России для наук морем во Францию и Италию. Того ради мы всех высоких областей дружелюбно просим, и от каждого по состоянию чина и достоинства, кому сие представится, приятно желаем, нашим же воинским и гражданским управителям всемилостивейше повелеваем, дабы означенного Федота Шубина не только свободно и без задержания везде пропускать, но и всякое благоволение и вспоможение показывать велели. За что мы каждым высоким областям взаимно в таковых случаях воз-

давать обещаем. Наши же подданные оное наше повеление да исполнят, во свидетельство того дан сей паспорт с приложением нашей государственных печати...”

С таким документом бывший беглый холмогорский костерез мог быть теперь вполне спокоен.

Когда он на прощанье показал паспорт Гордееву, тот не смог скрыть от него явного недовольства, вскипел и гневно сказал Шубину:

— Дразнишься! Дескать, Гордеев неуч, недоросль, не поспел за тобой! В душе смеешься... Ладно, Шубин! Буду и я за границей...

Федот покачал головой, ответил учтиво, не повышая голоса:

— Напрасно ты так, Федор... Я тебе не хочу худого. Пошлют и тебя в Париж, и я рад буду увидеться с тобой. А зависть — чувство поганое, зависть и ненависть неразлучны друг с другом. Я думал в начале учения, что будешь ты другом мне, а вышло совсем иначе...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Князь Дмитрий Алексеевич Голицын уже не первый год был послом при Версальском дворе. По тому времени это был человек обширных знаний, политик и ценитель художеств. По поручению царицы Екатерины Голицын закупал за границей для Эрмитажа и дворцов предметы искусства: картины, статуи, гобелены и всякую драгоценную утварь. Был он в близких отношениях с передовыми людьми Франции, особенно с уважением относился к Дени Дидро и увлекался чтением его литературных и философских трудов.

Под опеку князя Голицына и были направлены три пенсионера из русской Академии художеств. Семь недель они добирались морем и сушей до Парижа.

Им был дан строгий наказ от Императорской академии — никуда не ходить, не повидавшись с Голицыным. В русском посольстве пенсионерам было сказано:

— Их сиятельство изволили отбыть по весьма важным делам. Пока они не вернутся от короля, позаботьтесь устроиться где-либо...

Голицын был приглашен для участия в королевской охоте на кабанов и оленей, загнанных в один из пригородных парков. Сотни слуг с собаками всевозможных мастей и пород

сгоняли полудиких животных в угол парка. Король, расположившись с приближенными на помосте под бархатным балдахином, потешая себя, расстреливал на выбор и кабанов и оленей. Приближенные ему помогали.

Подобная охота Голицыну не доставляла большого удовольствия, но будучи приглашен королем, он не мог отказаться от участия в ней...

Не дожидаясь, когда вернется Голицын, Федот Шубин отправился искать для себя и для товарищей жилище. Скоро он подыскал для всех троих комнату у женатого бездетного цирюльника. О месте своего жительства они сообщили секретарю посольства.

Вернувшись с охоты, Голицын немедленно потребовал к себе приехавших из России пенсионеров, послав за ними посольскую карету. Шубин и его товарищи были поражены его добродушным и сердечным приемом. Князь был действительно им рад. Как только они показались в приемной посольства, он вышел к ним навстречу и, обняв поочередно всех, сказал:

— Наконец-то и русские пчелки прилетели сюда! Добро пожаловать...

За обедом князь долго расспрашивал, как они доехали, что нового в Петербурге, понравился ли им Париж, куда они успели здесь сходить...

О своем путешествии из Петербурга в Париж все трое рассказывали подробно и с оживлением, не забыли прибавить, что денег у них после долгого пути не осталось.

О российской столице поведали, что она растет и ширится с каждым годом, а Парижа они еще не успели по-настоящему разглядеть и сказать о нем им пока нечего.

— Почему? — спросил удивленный Голицын. — Ужели за неделю вы не успели ничего приметить в столице Франции?

— Не удивляйтесь, ваше сиятельство, — сказал Шубин. — Мы поступили так, как нам предписывала Академия. В инструкции, нам данной, сказано: „когда приедете в Париж, сейчас же являйтесь к его сиятельству господину министру ее величества“. И мы терпеливо вас ожидали, не выходя из своей квартиры, снятой временно у одного бедного цирюльника.

Голицын одобрительно усмехнулся.

— Это говорит о вашем благонравии. Однако вы могли бы за это время побывать на берегах Сены, в Лузре, в Со-

боре богоматери, в парижских парках, в кои здесь свободный доступ.

Обед затянулся. После обеда Голицын просматривал аттестаты, интересовался биографиями и способностями пенсионеров. Узнав, что Шубин из одной деревни с Ломоносовым, князь оживился:

— Весьма знаменательно! — воскликнул он, посмотрел на Федота особенно пристально и добавил: — Хорошо, кабы России побольше иметь Ломоносовых. После смерти его у нас на родине другого такого ученого мужа не осталось.

— Они будут у нас, — уверенно заметил Шубин. — Не зря покойный Михайло Васильевич в своем сочинении написал, что „может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать“.

Разбирая полученную из России почту, Голицын прочел письмо от секретаря Академии художеств Салтыкова — своего старого знакомого. В письме говорилось о Шубине:

„Разрешите мне рекомендовать вашему сиятельству г-на Шубина. Наклонности, талант и вкус его заставили всех членов надеяться, что он может усовершенствоваться в чужих краях. Они не решились бы однако отправить его в путешествие, если бы его поведение и его хороший нрав, испытанные в течение долгого времени, не были его гарантией“.

Князь прочитал все письма и, бережно сложив их в сафьяновую папку, сказал:

— Всё, друзья мои, будет устроено. О времени, проведенном в Париже, вы не пожалеете.

Потом разговорились об искусстве. Голицын в начале разговора предупредил пенсионеров, что он хотя и не кончал Императорской художественной академии в Петербурге и не имеет золотой медали, тем не менее в искусстве достаточно разумеет, иначе не имел бы от царицы доверия приобретать здесь художественные ценности.

— Вы не поймите, дорогие друзья, так, — сказал князь, — что искусство должно изображать только прекрасные предметы или показывать сиятельных особ, с их „сиятельной“ стороны. Ничуть не бывало! Живопись и скульптура обязаны быть выразительны и самой правде подобны. К примеру скажу: вот, гляньте сюда! — Голицын распахнул штору и показал на стоявшие под окном его кабинета два дерева. — Смотрите, одно из деревьев ветвисто, стройно и красиво,

а другое — поодаль от него — старое, кривое и, кажется, пора ему под топор и в печку. Но художник, изображая мужицкую хижину, прав будет взять за натуру дерево кривое, а не стройное, ибо у ворот хижины сходственнее стоять дереву, перенесшему бури и невзгоды, и тем самым подчеркнуть бедность и выносливость людей, живущих в той хижине... Отнюдь не хочу я сказать вам, что надо избегать копирования антиков или рисовать и лепить натурщиков. Всему этому вас учили в Петербургской академии, с подобной наукой вы встретитесь и в Париже и в Риме. Но вам надо достигнуть познания жизни и умения показать ее. А для этого не следует уподобляться слепым котяткам. Художник должен уметь сам видеть и сам понимать, не ограничивая себя наставлениями одного учителя, хотя бы у того было и семь пядей во лбу... А вы как смотрите на это? — спросил Голицын и, взглянув поочередно на пенсионеров, словно ожидая от них поддержки своим речам, закурил трубку с длинным мундштуком, украшенную шелковым шнуром и кистями.

Гринев толкнул локтем Шубина, покосился на него и проговорил не особенно смело:

— В нашей Академии вот Шубин Федот Иванович в спорах придерживался похожих мнений...

— Приятно слышать, — заметил князь. — Значит, новые люди несут новые веяния. Сама жизнь и мнения ученых философов идут навстречу друг другу. Весьма знаменательно! Вот приобживетесь в Париже, и я вас познакомлю с моим добрым знакомым Дени Дидро. Вам будет полезно встретиться с ним. Этот человек обладает всеобъемлющими познаниями. Сама государыня Екатерина находит удовольствие в переписке с ним...

О многом еще рассуждал Голицын с пенсионерами и произвел на них приятное впечатление, как знаток и любитель искусства.

Расставаясь с ними на несколько дней, он обещал устроить их на обучение к профессорам Французской королевской академии; обещал дать провожатых для осмотра Парижа и выдал на расходы по двести ливров каждому.

— Прошу вас, — прощаясь, сказал он пенсионерам, — каждое воскресенье бывать у меня. У нас здесь небольшая русская колония — человек сорок.

На этом и расстались пенсионеры с Голицыным. Возвращались они довольные, оживленно разговаривая о доброте посла.

Многие взгляды Голицына на искусство были близки к взглядам Дени Дидро, но пенсионеры еще не успели познакомиться с книгами знаменитого просветителя-энциклопедиста и не могли судить о степени этой близости.

На следующей неделе Шубин и его товарищи в сопровождении русского корабельного мастера Портнова, давно проживавшего в Париже, осматривали достопримечательности французской столицы. При содействии Голицына они получили пропуск во все музеи и даже в королевские палаты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В очередное воскресенье пенсионеры пришли к князю. Голицын принял их просто и обходительно.

— А теперь я вас, друзья мои, могу порадовать, — весело сказал князь. — Пока вы знакомились с достопримечательностями Парижа, я подыскал вам профессоров. Профессоры знатные. Иванов будет учиться у архитектора профессора Дюмонта и через него бывать у главного королевского архитектора Габриэля в Версале. Живописца Гринева я наметил к художнику Грёзу. Паче чаяния, если Грёз не найдет времени для обучения Гринева, мы имеем в виду живописца Вьена. Что касается Федота Шубина, то я, поговорив с господином Дидро и взвесив свое и его мнения, нашел самым подходящим учителем весьма известного в Париже скульптора Пигаля. Но опасаясь, как бы между учеником и учителем не произошли крупные раздоры.

— Не беспокойтесь за меня, ваше сиятельство, — успокоил князя Шубин. — У меня характер твердый, но уживчивый. Был бы хороший, полезный учитель, а остальное все сладится. Постараюсь благоприятное принимать и запоминать с удовольствием, а все худое не воспринимать. Уживемся, ваше сиятельство...

— Я тоже полагаю так, — заметил Голицын и, прищурив глаза, добродушно погрозил Шубину пальцем. — Однако я знаю холмогорскую „уживчивость“! Ваш покойный благодетель Михайло Васильевич Ломоносов, будучи подчинен в Академии Шумахеру и ему подобным, не ломал перед ними шляпы, а угощал их самой отборной бранью, какую в молодости он разве употреблял по адресу беломорских моржей... Вы, надеюсь, будете вежливы в обращении с учителями. А главное — преуспевайте! Наука для нас, россиян, превыше

всего. Считайте тот день и тот час потерянным, в который вы ничему не научились или не сделали полезного дела. Берите пример с Ломоносова.

После продолжительной беседы Голицын написал письмо и, запечатав пакет фамильной печатью, вручил его Шубину для передачи скульптору Пигалью.

На другой день, проснувшись раньше обыкновенного, пенсионеры, наскоро позавтракали и отправились к своим учителям...

Жан Батист Пигаль в том году справлял свой пятидесятилетний юбилей. Выглядел Пигаль моложе своих лет. Он был строен и весьма красив. Морщины, избородившие высокий лоб художника, скорее говорили не о наступающей старости, а о напряженной внутренней жизни скульптора, утвердившего за собой славу одного из лучших мастеров Франции. Шубин вручил ему письмо от Голицына и, низко поклонившись, заранее подготовленной фразой на французском языке сообщил, кто он такой и зачем прибыл.

Быстро пробежав глазами записку, Пигаль, не вдаваясь в лишние разговоры, сразу распорядился:

— Раздевайтесь, берите халат и приступайте к делу. Глину умеете готовить?

— Умею, — ответил Шубин и, не показав виду, что удивляется такой деловитости француза, скинул камзол и, надевая халат, почтительно проговорил: — Господин Пигаль, я хотел бы от вас, как своего учителя, знать все способы и манеры вашего мастерства; входя сюда, в мастерскую, я внушил себе мысль о том, что я ровно ничего не знаю. Прошу вас учить меня требовательно и строго.

Пигаль хмуро и внимательно посмотрел на своего ученика. Уловив в его добродушном лице выражение, подкупающее своей прямоотой, он понял его настойчивое желание учиться, и сказал:

— Я вижу, вы хотите по-настоящему учиться. Хорошо, я рад вам помочь.

И Пигаль рассказал, как нужно замачивать в ящике глину, чтобы она была не сыра, не суха, а послушна мастеру, чтобы цвет ее был не серо-зеленый, а бело-серый, серебристый. Он объяснил, что глина должна быть чистой, без посторонних примесей и, так как она дешева, то ее всегда должно быть больше потребности в три раза.

Шубин внимательно выслушал учителя и приготовил глину, как полагалось по его рецепту.

— А теперь скажите, каким должен быть, по-вашему, каркас? — спросил Пигаль и предупредил: — Вам в моей мастерской предстоит первой работой лепить Милона Кротонского с оригинала Фальконе...

— Я разумею так, — скромно отвечал Шубин: — каркас независимо от модели — будь то Милон Кротонский или ваш Меркурий, должен соответствовать величине и тяжести фигуры: не гнуться, не шататься и во время работы никакой своей частью не выпирать. Плохо приготовленный каркас — враг скульптора...

Пигаль не дал ему закончить мысль.

— Если вы так понимаете, начинайте делать. Я вам указывать не буду.

Обдумав и усвоив задание учителя, Шубин приступил к работе.

Так начались учебные будни.

Во время работы соблюдалась полнейшая тишина, и никто из посторонних не решался входить в мастерскую скульптора. Пигаль работал сам и успевал бросать острые, пронзительные взгляды на то, что делал его ученик. И ему казалось, что русский пенсионер послан в Париж не зря.

После работы, в поздние сумерки, собирались вместе все три русских пенсионера. Поговорив о прошедшем дне, они уходили в ближайший парк или в общественную читальню и с увлечением читали книги французских писателей и мирно беседовали об искусстве.

Через месяц Шубин, проверенный учителем, уже состоял в натурном классе Королевской академии. В это время он считал себя счастливее всех на свете. Да и как не быть счастливым? Всего каких-нибудь восемь лет отделяли его от Денисовки, а он уже кончил курс Петербургской академии художеств и учится в Королевской академии в Париже!

Он нередко добрым словом вспоминал Ломоносова. Перед сном, лежа в кровати, он также часто вспоминал свое пребывание истопником в роскошном дворце царицы, и ему казалось, что это была интересная, но неправдоподобная сказка. А уснув, видел продолжение сказки... Королевская академия, красивый полуоткрытый зал, освещенный громадной люстрой (в куростровской церкви такая даже не поместится). Он сидит за станком позади живописцев и чувствует, как запускает руку в ящик, достает мягкую, влажную глину и лепит копию со статуи Аполлона Бельведерского. И вдруг статуя, с которой он копирует, срывается с пьедестала, направляется

через весь зал прямо к нему... И оказывается, что статуя — не изделие античного мастера, а подвыпивший сосед из Денисовки Васюк Редькин. Он подходит к нему, трясет за плечи и говорит этак просто, по-соседски: „Ну-ка, Федот, смывай с рук французскую глину да собирайся в Денисовку. Довольно нам за тебя подати платить“. А товарищи оборачиваются, кричат Шубину: „Ого! куда залетела ворона, ого-го!“

Федот пробуждается, трет выступившие росинки пота на лице и в ночной тьме крестится.

— Слава богу, сон... — Он стаскивает одеяло со спящего рядом с ним на одной кровати Гринева и, довольный, снова засыпает...

В ту осень из Петербургской академии художеств совсем неожиданно прибыла еще группа пенсионеров и среди них — Гордеев. Их приезд обрадовал Шубина и его товарищей. Учебные будни в кругу однокашников становились как-то веселей, а тихое, неповоротливое время в труде и учебе двигалось заметно быстрее.

В свободные дни петербургские пенсионеры аккуратно посещали собрания и диспуты, происходившие между французскими светилами, которые их привлекали не меньше, чем занятия в Академии. Они не раз слушали горячие споры Дидро с Буше и Кошеном по поводу художественных выставок в парижских салонах. Слушали, взвешивали их рассуждения и приходили к одному выводу, что им, русским пенсионерам, надо упорно учиться, прислушиваться, присматриваться и выбирать для себя полезное.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Однажды в субботу, возвратясь из Академии раньше обычного, Шубин вместе с архитектором Ивановым отправились в литейную мастерскую посмотреть, как французы отливают из меди фигуры к статуе Людовика XV.

Шубина это крайне интересовало; ему хотелось научиться отливать формы; в России он отливки не видал, хотя и были в ту пору и даже раньше самобытные литейщики-медяники, отливавшие медные иконы-складни, колокола и пушки. Шубин внимательно смотрел, как производится в парижской литейной литье фигур, а Иванов ходил по литейному цеху, изучая строение самой плавильни, измерял

ее и мысленно создавал проект такого заведения для Петербургской академии художеств.

К ним скоро прибежал Гринев и сообщил:

— Друзья, на завтра все русские пенсионеры, обучающиеся искусствам, приглашены к Голицыну. Будет сам Дидро в гостях у князя!

— Это не худо, — спокойно заметил Шубин, наблюдая, как расплавленный металл, рассыпаясь искрами, стекает по желобу в приготовленную форму.

— Я думаю, по такому случаю сегодня обязательно надо нам в баню сходить, — предложил Иванов, что-то записывая и вычерчивая у себя в тетради.

На следующий день, вечером, у князя Голицына в деловой и торжественной обстановке собрались Шубин, Гринев, Гордеев, два Ивановых — оба из класса архитектуры, живописец Семен Щедрин и гравер Иван Мерцалов. Одежда на пенсионерах была праздничная, подогнанная по плечу — камзолы зеленого сукна с крупными светлыми пуговицами и широкими отворотами на узких рукавах, штаны до колен. Праздничный наряд каждого дополняли длинные чулки с подвязками и узконосые башмаки с начищенными металлическими пряжками.

За исключением Шубина, все пенсионеры пришли при шпагах. Молодые и жизнерадостные лица были, как того требовала французская мода, напудрены, а брови подкрашены.

Гораздо проще, несмотря на праздничный день, одет был Дидро. На нем не было парика. Редкие седые волосы лежали беспорядочно. Пронизывающие глаза сверкали живым огнем. Он добродушно и радостно приветствовал молодых русских художников и каждому крепко пожал руку.

„Подлинно человек, и какая живость! — подумал Шубин, глядя на Дидро. — А ведь будто сейчас сошел с полотна Фрагонара“. Портрет фрагонаровский Шубину не раз случалось видеть в одном из парижских салонов, и каждый раз Федот долго простаивал перед ним, всматриваясь и запоминая черты Дидро.

Голицын усадил гостей за длинный стол, обильно загроможденный фруктами в серебряных вазах и винами в хрустальных графинах.

— Я пригласил вас, друзья, побеседовать с господином Дидро, — сказал князь, усаживаясь в кресло, стоявшее в конце стола. — Прошу, не стесняясь, говорить с нашим го-

стем и выспрашивать его о чем вам заблагорассудится. Чувствуйте себя здесь как дома...

— Едва ли они могут себя так чувствовать в этой стесняющей их форме Королевской академии.— Дидро весело засмеялся, потом продолжал:— Дорогие русские друзья, вы приехали к нам во Францию, как в сказочную страну за счастьем, за наукой. Может статься, вы и найдете то, что ищете, но не забывайте, что в нашей цивилизованной стране на каждом шагу вас подстерегает пошлость и разврат... даже в методах самого воспитания. Низкопоклонство, реверансы, условное изящество — всё это не то, что нужно человеку, жаждущему быть свободным...

Так, с простого замечания об одежде знаменитый философ начал беседу об искусстве. Русские пенсионеры, не мало слышавшие Дидро на публичных диспутах, были несказанно рады послушать его в непринужденной товарищеской беседе. Здесь Дидро не походил на оратора. Говорил он медленно, полагая, что французский язык слушатели, за исключением Голицына, знают еще не в совершенстве. И говорил о том, о чем не раз уже высказывался на диспутах в салонах и в других местах, где ему приходилось сталкиваться со своими идейными противниками.

— Вас интересует, дорогие друзья, искусство. Хорошо, но знаете ли вы, что прежде всего искусство должно быть жизненно. Многие картины наших французских художников весьма бледны и по замыслу и по идее. Художники, лишенные воображения и вдохновения, не постигнут ни одной великой и сильной идеи. К чему тогда браться за кисть и портить краски? Ради личной корысти? Ради денег? Нет, художник, думающий о деньгах, теряет чувство прекрасного. А что значит прекрасное? Я имею в виду слова поэта Буало, который справедливо заметил: „Не существует такого ужасного чудовища, которое, будучи воспроизведенным в искусстве, не было бы приятно для глаз“... Учитесь изображать на полотне и в скульптуре невзгоды и нужды, не забывая, что и тут следует сохранять изящество, а изящество происходит от чувства прекрасного.

— Как приобрести это чувство, господин Дидро? — не вытерпел и спросил Шубин. — И в Петербургской академии и здесь постоянно перед нами вынужденная надоедливая поза натурщика и не всегда в ней видны черты прекрасного.

Дидро быстро и пытливо посмотрел на Федота, одобрительно кивнул головой на его замечание и сказал:

— Я вас вполне понимаю и, разделяя вашу точку зрения, нахожу, что всякая поза фальшива, действие же прекрасно и правдиво. Но вы, друзья мои, чаще ходите на улицы наблюдать жизнь, заглядывайте в кабаки, в мастерские, в церкви, на рынки — всюду, где жизнь многокрасочно протекает, наблюдайте и отображайте её на славу!

Шубин, увлекшись беседой, забыв о том, что находится в обществе знаменитых особ, расстегнул все пуговицы студенческого камзола и сидел, как зачарованный, смотря ясными, почти немигающими глазами на Дидро. Шубину вспомнился отзыв Ломоносова о французском языке, способном живостью своей увлекать слушателей. Язык Дидро оправдал похвалу Ломоносова.

Стояла полнейшая тишина.

— Создавая портреты, умеете правдиво изображать чувства, а это самое трудное, — продолжал Дидро. — Вообразите перед собой все черты прекрасного лица и приподнимите только один из уголков рта — выражение станет насмешливым... Верните рот в прежнее положение и поднимите брови — вы увидите выражение гордеца. Приподнимите оба уголка рта одновременно и широко откройте глаза — перед вами будет циник... И мало ли еще найдется всевозможных способов выразить характер человека через его физиономию...

Голицын придвинул вазу с фруктами к Дидро и, желая придать беседе еще более дружеский характер, сказал шутливо:

— Господин Дидро, вы обладаете вкусом ко всем видам искусства, а имеете ли вы вкус к этим испанским апельсинам?

— Да, о вкусах... — как бы спохватясь, проговорил Дидро и, взяв апельсин и оставив вазу на середине стола, заговорил о вкусах. — Вкусы, конечно, бывают разные и зависят от положения в обществе, от уровня знаний и даже от возраста. Но плохо, когда вкусы зависят от настроений и меняются ежечасно. Не правда ли — художник без твердого и определенного вкуса — жалкий, ограниченный человек? Однако, имея свой вкус, не мешает беседовать с знатоками и прислушиваться к людскому голосу. Но советуйтесь только с честными и истинными ценителями вашего творчества. Они всегда ваши доброжелатели...

В разговоре Дидро был неутомим. В плавном спокойствии его речи не чувствовалось принуждения принимать

сказанное им за непреложное. Но никому из русских пенсионеров и в голову не приходило не соглашаться с ним.

Пользуясь минутной паузой в беседе, Голицын намекнул философу, что русским ученикам Королевской академии интересно было бы знать его мнение об их учителях.

— Мнений своих я не скрываю, — сказал Дидро. — Я люблю, например, Кошена, но я еще больше люблю правду. Одобряю его исторические гравюры, но не могу привыкнуть к недостаткам его громоздких композиций.

— Скажите о Буше, о Буше скажите! — вырвался чей-то нетерпеливый голос.

— Я не знаю, что вам сказать об этом человеке. Я не поклонник Буше, хотя он и получил звание первого живописца короля. Подумайте сами, что может Буше набросать на полотно? То, что у него в воображении? А что может иметь в воображении человек, который проводит жизнь с проститутками? Этот человек совершенно не знает, что такое изящество и правда. Понятия о нежности, честности, невинности и простоте ему чужды. Если он рассчитывает на короля и восемнадцатилетних бездельников, то пусть продолжает писать для них голых французенок. Но скажу по совести: сколько бы его картины ни торчали в салоне, они будут порядочной публикой отвергнуты и забыты...

Дидро обвел глазами русских собеседников, словно быща у них поддержки в оценке Буше и, видя, что все они насторожились, улыбаясь, спросил:

— Вероятно, вас интересуют и французские мастера скульптуры? Из них я предпочитаю во всей Франции двух знаменитых художников — Фальконе и Пигалья. Фальконе уехал к вам в Россию по заказу императрицы создавать монументальный образ Петра Великого. У Фальконе много вкуса, ума, деликатности, приятности и изящества... Мой добрый друг Пигаль, которого в Риме за исключительное упорство в работе, за трудолюбие прозвали „ослом скульптуры“, научился создавать произведения сильные и правдивые, но ему далеко до Фальконе! Это два великих во Франции человека. Взглянув на их произведения и через пятнадцать или двадцать веков, люди скажут, что французы в XVIII веке не были детьми, по крайней мере, в скульптуре!

При этих словах Дидро заметил, как озарилось улыбкой лицо Шубина, которому было приятно слышать столь похвальный отзыв о своем учителе. Уважение, которое он питал к Пигалю и его творчеству, возросло теперь еще больше.

Между тем Дидро продолжал называть имена французских художников — Вьена, Лагрена, Грёза, Лепренса, Фрагонара и других, метко и остро характеризую каждого.

Беседа затянулась до полуночи. Никто не чувствовал утомления. Каждый готов был сидеть, слушать и разговаривать хоть до рассвета. Наконец, улучив удобную минуту, Голицын поднялся с места и обратился к присутствующим:

— Друзья, это у нас первая встреча с господином Дидро и, надеюсь, не последняя. Не будем сегодня больше утомлять глубокоуважаемого учителя. На этом, я полагаю, кончим...

Все не спеша направились к выходу. У парадного подъезда, при свете уличных фонарей, ученики посадили Дидро в карету и, поблагодарив его и Голицына, довольные беседой разошлись по своим пристанищам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Среди учеников-пенсионеров Петербургской академии художеств, учившихся в Париже, Федот Шубин считался наиболее способным в писании деловых писем. Он обладал мягким и приятным слогом, к тому же владел почерком четким и изящным. Поэтому когда надобно было писать в Петербург о своем пребывании в Париже и о том, как у них подвигается учение, товарищи обращались к Федоту:

— Давай-ка, помор, накатай в Академию грамотку секретарю Салтыкову, чтоб помнили о нас...

И Шубин брался за гусиное перо, перебирал в памяти все известные ему достопримечательности, где он бывал за это время с товарищами, и, обмакнув перо в скляницу, писал:

«...в Версалии имели честь быть у Габриэля, первого королевского архитектора, и ему рекомендованы, он же благосклонно принявши, приказал провождать нас во все места для показания...»

«...адресованы были к инспекторам шпалерной мануфактуры, чтобы они показанием, как работают гобелены, нас удовлетворяли...»

«...Господин Буше тоже позволил ходить к себе по рекомендации его сиятельства князя Голицына...»

«...Конференц-секретарь господин Кошен также про нас имеет отверстые двери... И от господина Дидерота со-

благоволение имеем ходить к нему. И от него пользуемся благоразумными наставлениями...“

Из Петербургской академии художеств предписывали Шубину и товарищам экономить выданные на обучение деньги и не задерживаться в Париже, а скорей ехать в Рим.

Шубин подружился с Пигалем, нередко встречался с Дидро и рассчитывал, что по меньшей мере еще год следует пробыть ему в Париже. Встревоженный предписанием Академии он пришел за советом к Дидро.

— Как быть? Петербургская академия торопит нас ехать в Рим, а мы еще не исчерпали многих полезных наук от парижских учителей.

Отзывчивый философ написал письмо в Петербург, в Академию. Он просил продлить срок учения русским пенсионерам в Париже, доказывая, что „чем сильнее будут они к моменту прибытия в Италию, тем легче будет им использовать это второе путешествие“.

Через два месяца из Петербурга последовал ответ. От имени собрания академиков предлагалось пенсионерам немедленно поехать на год в Италию. А о Федоте Шубине была приписка: „Что же касается скульптора Шубина, который находится в Париже у г-на Пигалья, то ему Собрание позволило остаться еще на некоторое время возле этого великого человека, имея возможность извлечь таким путем сейчас гораздо большую пользу, нежели в Италии“.

Такое сообщение из Петербурга было мало утешительно для Шубина — оно угрожало отменой поездки в Рим.

Между тем время шло, и товарищи, приехав в Италию, посылали Шубину письмо за письмом. Они убеждали его торопиться и уверяли, что до самой смерти он будет жалеть, если не увидит трудов римских ваятелей и живописцев.

Одному, без товарищей, Шубину стало невыносимо скучно в Париже. Его тянуло в Рим. Расстроенный, он не мог продолжать работу над скульптурой „Прикованный невольник“. Пигаль заметил переживания своего ученика и освободил его временно от работы, предупредив, чтобы он, пока не будет расположен к делу, не приходил в мастерскую.

Шубин обиделся и возразил:

— За время, которое нахожусь в Париже, я сделал очень мало. Мне надо подгонять себя.

Пигаль повторил свое предложение:

— Я достаточно знаю вас. Ступайте отдохните, а потом не принуждая себя, приходите, дело от вас не уйдет.

Отдохнув несколько дней, Шубин снова принялся за труд. Мысль о Риме попрежнему не покидала его ни на минуту. После занятий он приходил домой, в пустую и неудобную комнату, и, перелистывая альбом с зарисовками своих работ, выполненных в Париже, тревожно думал о том, сможет ли он теперь добиться от Академии позволения примкнуть к своим товарищам, находящимся в Риме. А если добьется и приедет туда продолжать учение, то как на него посмотрят в Риме? Ведь там привыкли к античному искусству, там господствуют идеи Винкельмана — проповедника подражания античности в искусстве, а здесь, во Франции, ему кажется близким в творчестве Пигалья все то новое, что идет от самой жизни. Здесь наставления Дидро так убеждают его в справедливости его собственных мыслей о том, что искусство должно отображать жизненную правду.

В собственном альбоме взгляд Шубина особенно часто задерживался на тех зарисовках его работ, которые он считал лучшими. Вот рисунок с надгробного памятника, высеченного им из белого мрамора по заказу вдовы какого-то марсельского купца: два мальчика и женщина „в позе неутешного горя“ оплакивают преждевременную кончину отца и супруга. Группа была выполнена далеко не ученически, но сам по себе „кладбищенский“ заказ был не по характеру молодого скульптора. Фигурные надгробия, распространенные за границей, в России в ту пору совершенно отсутствовали, и Шубину такой обычай сохранения памяти об умерших был чужд.

Вторая зарисовка в альбоме была сделана со статуи „Отдыхающий пастух“. Эта работа была более совершенной. Но статуя сделана из алебастра и послана в Петербург, в Академию. „Дойдет ли в целости? И будет ли потом отлита из меди?“ — сомневался Шубин.

На зарисовке группы с фигурами „Бедности“ и „Богатства“ он остановил свое внимание. Эта работа казалась ему лучшей из всех. Группа была отлита из бронзы, позолочена и отправлена в Россию...

С прежней аккуратностью Федот Шубин посещал Королевскую академию и мастерскую Пигалья, но все же после отъезда товарищей в Италию ему стало скучно и он жалел, что вместе с ними не уехал в Рим. В воскресные дни Шубин бродил в раздумье по шумному парижскому базару. Жизнь в Париже казалась уже не столь заманчивой, как



Г. А. Потемкин-Таврический.

Мраморный бюст работы Ф. Шубина.
Государственный Русский музей (Ленинград).



раньше, в первые месяцы пребывания. Желание попасть в Рим усиливалось. Итти снова к Дидро и просить его ходатайствовать об устройстве поездки в Италию Шубин находил неудобным. Голицын был в отъезде. Тогда он вспомнил слова Дидро о том, что в России находится знаменитый французский скульптор Фальконе.

„А не попробовать ли действовать через него?“ — подумал Шубин и, обрадованный этой мыслью, обратился к своему учителю.

Но Пигаль не разделял его надежд.

— Разве вы не знаете, что я могу вам оказать медвежью услугу? Фальконе не любит меня, а я ненавижу его, — сказал он сумрачно и, подумав, добавил: — А вы попробуйте через секретаря Королевской академии Кошена. Он человек чуткий и вам не откажет.

Пигаль оказался прав.

Кошен отнесся сочувственно к намерению Шубина и тотчас же написал Фальконе...

В Петербурге по повелению Екатерины готовились поставить Петру Первому монумент. Еще в 1765 году князь Голицын получил от царицы наказ подыскать ей во Франции искусного скульптора. Голицын, предварительно сговорившись с мастерами ваяния, ответил Екатерине, что он имеет на примете четырех скульпторов на выбор: Фасса, Кусто, Файо и Фальконе. На следующий год, по желанию Екатерины, Фальконе приехал в Петербург. Десять месяцев он работал над малой глиняной моделью памятника и три года — над второй, большой моделью, гипсовой. Фальконе пользовался доверием Екатерины и ее приближенных, он имел авторитет и в Академии художеств. Работу над памятником Петру он обещал закончить в восемь лет. Скульптора просили поспешить и ему способствовали в работе. Против окон того дома, где жил и работал Фальконе, была устроена площадка с возвышением. Сюда ежедневно приезжал ловкий кавалерист на лучшем жеребце из царской конюшни и с разгона вздымал коня. Жеребца звали Бриллиант. Для Фальконе это была необходимая натура.

Ваятель иногда выходил из дома на ездовую площадку, любовался на Бриллианта со всех сторон и находил его вполне подходящим для аллегорического изображения России, поднятой Петром на дыбы...

Фальконе имел некоторое представление о русских пенсионерах, учившихся во Франции. Помнил он и фамилию

Шубина по его скульптуре „Отдыхающий пастух“, сделанной в Париже.

И когда знаменитый скульптор получил от Кошена письмо, то в свою очередь не замедлил обратиться с письмом на имя директора Петербургской академии. Мало того, он оторвался от работы и сам пришел в Академию художеств.

— Чему мы обязаны вашим посещением? — несколько удивленно и подобострастно спросили в Академии редкого посетителя.

— Я пришел просить за вашего воспитаника. Вот, пожалуйста, передайте директору Академии, — и знаменитый скульптор, вручив пакет, добавил: — Буду благодарен, если просьбу мою исполните.

Он поклонился и вышел, не дожидаясь ответа.

Письмо было написано по-французски:

„Милостивый государь!..

Господин Кошен, секретарь Королевской академии пишет мне, что вы окажете неоценимую услугу искусству и ученику-скульптору Шубину, согласившись с тем, что вместо возвращения в Россию следовало бы его отправить в Рим. Я видел одну из его фигур — очень недурное произведение, но вы сами знаете, что нельзя сделаться скульптором в три года. Ему следует еще поучиться, тем более что он занимается с успехом. Если вы, ваше превосходительство, позволите присоединить к просьбе и удостоверению г-на Кошена и мою личную, то я могу уверить вас, милостивый государь, что этот молодой скульптор из числа тех, в ком я заметил всё свидетельствующее об истинных дарованиях; возвратить его раньше, чем он увидит Италию, означало бы остановить его дальнейшее преуспеяние. Его прекрасное поведение, доказательства которого вы имеете, отвечает за него наравне с его способностями. Лишь себя надеждой, что вы, ваше превосходительство, который так много делаете для поддержки его таланта, окажете внимание просьбе моей и Кошена.

Остаюсь с почтением к вам
покорный слуга вашего превосходительства
Фальконе.

С.-Петербург, 1770 г.

Просьба Фальконе и Кошена оказала должное действие. Мечта Федота Шубина о Риме осуществилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

От Парижа до Марселя он ехал на почтовых. Из дилижанса в дилижанс пересеживался на станциях, где меняли лошадей и кучеров. В пути часто перепадали теплые, но обильные дожди, от которых на трактах была непролазная грязь.

Шубин любовался привлекательным пейзажем французской провинции. Тихие французские деревеньки поражали холмогорского путешественника своей чистотой, уютом, но вместе с тем было видно, что французские крестьяне, работающие на крупных землевладельцев, живут, как и русские мужики, в крайней бедности. Но природа здесь не та, что на русском севере. Даже около маленьких, пастушьих хижин он видел небольшие огороды, яблони, заботливо возделанные крохотные виноградники, а под окнами цветущие розы.

Он видел в пути не мало нищих. Здешние нищие — убогие старики и калеки, протягивая руки за подаванием, не упрашивали подать им милостыню христа-ради, а каждый из них имел себе на прокормление какое-нибудь занятие: одни монотонным голосом пели, сквозь слезы восхваляя королевскую Францию, другие играли на скрипках, третьи предлагали за кусок хлеба самодельные бумажные цветы.

Полторы недели пути до Марселя прошли быстро. В незнакомом бойком портовом городе Шубин разыскал ту купчиху, по заказу которой он делал в Париже мраморный памятник на могилу ее мужа, и, ласково принятый, остался у нее в гостях на два-три дня.

В Марселе было смешение многих народов и языков. Преобладали французы и итальянцы, но на каждом шагу встречались англичане, португальцы, испанцы, греки и представители далеких южных и восточных стран, одетые в разноцветные костюмы, ничего не имевшие общего с французской модой.

Древний город, построенный за шестьсот лет до христианской эры, как ни странно, со стороны архитектурных и музейных достопримечательностей не производил после Парижа глубокого впечатления. Зато здесь сильно чувствовалось кипение торговой жизни и мореходства. На Средиземном море не было другого порта, равного Марсельскому. Большие и малые суда приходили из всех портов мира и уходили во все страны.

Суета торгового города быстро надоела Федоту Шубину. При благоприятной погоде, на большом паруснике, прямым сообщением он отправился в Неаполь, а оттуда по побережью Тирренского моря — в Рим.

Памятники древности, памятники эпохи Ренессанса, здания Микеланджело и других великих мастеров искусства, затмили в глазах Федота Шубина напыщенную роскошь парижских салонов и дворцов.

Рим был школой художников и скульпторов всего мира. Они учились друг у друга, учились, созерцая творения античных мастеров, посещая пышные храмы, дворцы и виллы аристократов.

Шубин присоединился к группе своих земляков-пенсионеров, обучавшихся в римском отделении Парижской королевской академии. Время теперь у него уходило полностью на то, чтобы лепить, рисовать, слушать лекции, высекать фигуры из мрамора и посещать достопримечательные места.

В Риме в те дни жил русский вельможа, любитель искусства Иван Иванович Шувалов. Шубин получил через него пропуск в те места, куда такие, как он, не имели доступа. С этим пропуском он свободно посещал Академию св. Луки, Капитолийскую академию, где лепил с обнаженной натуры, заходил в мастерские итальянских живописцев и скульпторов.

Много раз бывал он вблизи знаменитого ватиканского собора и подолгу простаивал на главной площади. Огромный храм Петра, воздвигнутый по проектам Микеланджело и Мадерна, возвышался над всем Римом. По сторонам от него, справа и слева, тянулись, подобно громадным щупальцам, закругленные колоннады — создание Бернини. Сюда подъезжали в золоченых каретах кардиналы, академики и вся римская знать во главе с „наместником божьим“ — папой.

Но пышные богослужения в соборе ничуть не привлекали Шубина. Зато римские статуи, римские декоративные украшения он изучал внимательно и прилежно.

В короткий срок он осмотрел произведения искусства, хранящиеся в Ватикане; побывал не раз в богатейшей церкви Сан Карло Фонтана, в Тиволи, Фраскати, Албани и в других местах, где искусство древнего Рима соединилось с великолепием эпохи Возрождения. Разглядывая творения знаменитых итальянцев, Федот Шубин не забывал слова Дидро: „Редко случается, чтобы выделился художник, не побывавший в Италии. Но антики надо изучать не как самоцель,

а как средство научиться видеть натуру, жизнь и двигаться вперед, чтобы не остаться мелким и холодным подражателем“...

Другие не были так тверды в своих убеждениях, как Шубин. Гордеев, например, был совершенно пленен античным искусством и ни о чем другом не мог думать. Он стал ярким последователем Винкельмана и в спорах с товарищами постоянно повторял его слова: „Надо подражать грекам, в этом единственное средство стать великим“.

Федот Шубин в таких случаях всегда возражал, отстаивал в искусстве жизненную правду и простоту. Однажды, когда он напомнил Гордееву о его ранней статуэтке „Сбитенщик со сбитнем“ и похвалил эту работу, Гордеев, вспыхнув, ответил:

— Я никогда не пожалею, что разбил о мостовую эту первую, случайную свою статуэтку. Вместе с ней я разбил свои ранние увлечения. А вот ты, упрямец, не понимаешь того, что низменные вещи не должны служить моделью для идеального искусства!

Шубин резко расходился с Гордеевым во взглядах на искусство. Они все более и более отдалялись друг от друга.

Шувалову ссоры между пенсионерами были хорошо известны. Но он пока не думал вмешиваться и примирять Шубина с Гордеевым: разногласия их казались ему для дела полезными, он иногда лишь вскользь замечал:

— Учитесь, а там время и ваши труды покажут, кто из вас более близок к истине.

Следя за работами всех шести русских учеников, Шувалов видел их рост и по достоинству оценивал вкус и способности каждого. Шубинские работы ему нравились больше других, и он заказал Шубину сделать с него барельеф. С заказом Шубин справился быстро и великолепно. Вскоре ему через Шувалова поступил еще более солидный заказ на бюсты знаменитого графа Алексея Орлова-Чесменского и его брата Федора.

Работа над бюстами отняла у Шубина много времени и вынудила его отстать от товарищей в изучении искусства Рима. А между тем время не стояло на месте, и летом 1772 года Шувалов получил из России уведомление: „студентам-пенсионерам денег впредь не давать и ввиду окончания срока ехать им обратно в Петербург“. Шувалов объявил им об этом и выдал всем, кроме Шубина, деньги и документы на выезд из Италии. Федот, недоумевая, спросил вельможу:

— Ваше сиятельство, чем объяснить задержание меня здесь сверх срока, тогда как вот они, — он обвел глазами своих товарищей, — поедут в Петербург?

— Моей любовью к вам, — отшутился Шувалов.

— Благодарю вас, но не думаете ли вы, что и я, оставшись здесь, преклонюсь перед античным божеством и слепо буду копировать римлян и греков? Этого не случится со мной, ваше сиятельство...

— Почему? — нарочито серьезно спросил Шувалов.

— Потому что взглядами на жизнь и искусство я не торгую, как некоторые, и знаю, что Рим нужен нам, художникам, не голого подражания ради, а чтобы подчинить усвоенные античной красоты жизненной правде, — ответил Шубин и, посмотрев в сторону Гордеева, спросил иронически:

— Не так ли, Федор?

— Цыпляют по осени считают, — вспыхнул тот и умолк, считая, что при Шувалове неудобно поднимать шум. Но Шувалов заметил это и сказал спокойным голосом:

— Давненько я примечаю за вами нелады. Грубость, раздоры не приводят к добру, а приятельство и скромность показывают человека всегда с хорошей стороны.

Он поднял указательный палец и, повернувшись к Федоту, проговорил:

— Вы, Шубин, не будьте в обиде: в Петербург еще успеете, а здесь предстоит вам большая работа: необходимо повторить мраморные бюсты Орловых для брата английского короля герцога Глостерского. Это надобно сделать по двум причинам: потому, что ваша работа признана преотменно удачной и еще потому, что в английских кругах весьма заинтересованы личностью Алеши Орлова, удивившего всю Европу поражением турецкого флота под Чесмой... Труд будет оплачен сверх меры. И еще я имею к вам письменную просьбу о заказе от Никиты Демидова. Он сейчас живет в Париже и там наслышан о вас...

Шубин не протестовал. Так после долголетней учебы началась его самостоятельная жизнь. Одиннадцать студенческих лет с государственной пенсией и строгой академической дисциплиной остались позади. Беглый черносошный с государственной земли крестьянин, обученный в трех столицах, уверенный в своих силах и своем даровании, встал твердо на путь художника-ваятеля. Внимание первых знатных заказчиков обещало ему заманчивое будущее.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Никита Демидов был богатейшим промышленником России. Дед его с позволения Петра Первого занялся горными разработками на Урале. Тысячи подневольных людей работали на Демидовых, добывая железо. Крупное хозяйство промышленника вели его ближайшие родственники — управляющие, приказчики, конторщики. Сам Никита со своей третьей женой Александрой Евтихьевной временно проживал в Париже.

В ненастную осень 1772 года Иван Иванович Шувалов, вместе с дипломатическим курьером, сопровождавшим почту, направил из Рима в Париж Федота Шубина. Париж после Рима казался теперь Шубину еще более кипучим городом, городом богатства и нужды, городом роскоши и нищеты. Здесь Шубину всё было знакомо, а потому, не тратя зря времени, он сразу же принялся за дело: начал лепить из глины, затем высекать из мрамора бюсты супругов Демидовых.

Работал он в просторной и светлой комнате богатого барского особняка. Демидов охотно позировал Шубину, желая увековечить себя в холодном куске мрамора.

Иногда за обильным угощением Шубин с увлечением и знанием дела рассказывал Демидову об Италии, о сказочном Риме, который художествами превосходит все города мира.

— Есть галерея в Ватиканском дворце, — рассказывал Федот Демидову, — расписана великим мастером Рафаэлем и его учениками. Картины из Ветхого и Нового завета, ангелы, серафимы и черти, разные птицы, звери, всадники, кентавры, растения всевозможные! Как глянешь на такое видение — глаза разбегаются, язык застревает! Скажешь только „ах!“ да и стоишь, как зачарованный. Где-где, а уж там, Никита Акинфиевич, сразу вы поймете и полюбите искусство...

— Даже и кентавры есть? — понимающе спрашивал восхищенный Демидов.

— Есть, Никита Акинфиевич, есть, и удивительные кентавры, залюбуешься на всё глядя...

— А я, признаться, их еще не видел. Клен, кипарис, кедр, пихту — это все видел, а вот кентавра не примечал нигде.

— Никита Акинфиевич, да ведь кентавры это не деревья!

— А что же такое? Ты сказал — растения всевозможные, или я не так понял, или глух стал?..

— Ну, вот, видите, что значит в Риме не были! Кентавры — не люди и не животные, изображаются они по древней мифологии в виде лошадей, но с человеческим торсом.

— Ага, знаю! — догадался Демидов, выпивая огромный бокал вина. — Это, как бы сказать, вроде Полкана-богатыря, что с Бовой-королевичем сражался. Знаю, знаю...

— Вот, вот, как раз угадали! — поддакивал Федот и тоже пил, не много уступая в этом своему собеседнику.

— Великое дело наука! — вдруг вдохновенно воскликнул Демидов и, встав из-за стола, жестикулируя, продолжал говорить, пересыпая речь грубыми словами:

— Вот, скажем к слову, в кентаврах я не разбираюсь, но рубль на копейку нажать — это, пожалуй, мое дело. Тут меня сильнее на Руси никого нет. Я, один я, четверть России могу купить! Знатнейшие особы, князья и графы мне завидуют, сама Катерина для поцелуев мне ручку подсовывает. Слов нет, царица — бабенка хитрая: из неметчины приехала Софьей-Августой, а тут еще перекрестилась и третье имя присвоила. А знаешь, Федот Иванович, что она с собой в приданое привезла? Три платья да девять исподних, ха-ха-ха! А у покойной-то Елизаветы в одном пожаре четыре тысячи платьев сгорело! А эта с тремя платьями в Россию пожаловала! Ничего, наша держава сама в домотканых портках проходит, а царицу оденет. Но платьями стыд не прикроешь. Елизавету она околдовала; хилого муженька Петрушку сама же помогла со свету сжить. Это за грех не считается... А на престол кто ей помог вскарабкаться? Любовники!.. Ими она себя окружила для крепости и сама же их боится...

— Никитушка, Никита! Что ты, сердешный, болтаешь молодому человеку?! — вмешалась в разговор вбежавшая в комнату Александра Евтихьевна. И подойдя сзади, она зажала ему рот ладонью. Демидов оттолкнул ее на позолоченный диван. Зазвенели пружины в диване, Евтихьевна только охнула.

— Не мешай, знаю что и кому говорю! Я почти не пьян. Федот Иванович всё должен знать, он человек ума. А настоящего ума, знай, Евтихьевна, на катькины ассигнации не купишь, к тому надо дарование и склонность иметь!.. С вольтерами и дидеротами письмами флиртует, указы да наказания всякие придумывает, а что толку? Глянь присталь-

ней — для своей славы старается, а не для пользы отечества... Я все знаю! А знаю потому, что сам знатен и богат! Без Демидовых и царь Петр не обходился, не то что эта...

Демидов рычал, стучал кулачищами по столу. Потом, успокоясь, тяжело вздохнул, снова наполнил бокалы и, отдышавшись, более степенно продолжал:

— Хорошо тому жить на свете, кто многие науки постиг, ибо это такое есть сокровище, которое за мои миллионы не купить... Скажем, наш Ломоносов, Дидерот, Вольтер, или, к примеру, там Рафаэль итальянский — они и после своей смерти долго останутся жить. Вот, брат, оно как! Федот Иванович, ну, порасскажи, будь другом, о Риме...

— Что же, о Риме трудно, Никита Акинфиевич, рассказывать, его видеть нужно. Город преотменный, такого нет другого, вам обязательно там побывать надобно.

— И съезжу! Евтихьевна! Приосвободимся да поедем-ка в Рим! На огненном вулкане побываем... Вот где настоящий ад... Соберем компанию — я, да ты, Евтихьевна, да Мусин-Пушкин с нами радехонек будет прокатиться, да князь Гагарин. Жаль, римского языка никто из нас не знает. А ты, Федот, балакаешь по-ихнему?

— Я с итальянцами говорю на их языке так же, как вот сейчас с вами на русском.

— Голубчик! Да ужели ты откажешься побывать в Риме с нами на сей раз?.. Петербург от тебя никуда не уйдет, не торопись домой. В Риме бывать ли еще, давай-ка решай... Поедешь с нами проводником. Человек ты надёжный, в искусстве смыслённый. Ну-ка, ещё по чарке за поездку в Рим...

Шубин пил почти не хмелея. Он не раскисал, как тучный Демидов, а веселел от выпитого вина, улыбался и становился говорливей и предприимчивей.

— Ехать так ехать, — сказал он в ответ на предложение Демидова. — Я согласен, только вот не будет ли Петербургская академия в претензии? Как никак, я теперь хоть и вольный человек, а казенный. Скажут: выучился за счет казны и домой не торопится.

— Не лиха беда! — громко выкрикнул Демидов. — Да пусть они там лишнее слово скажут, да я самому вашему Бецкому слово вымолвлю — не пикнет против! А там Шувалов напишет из Рима — такой-то, мол, Шубин шибко занят с важными особами для показа Италии — и делу конец...

Демидов не преувеличивал силы своего влияния на русских сановников, и Шубину удалось посетить Рим вторично. Это посещение длилось пять месяцев — до мая 1773 года. С Демидовым была его жена, Мусин-Пушкин и князь Гагарин. Шубин был их проводником. Компания, за исключением проводника, была ленива и не любопытна.

Шубин ходил впереди их всех, как поводырь, ведущий группу слепых, и про себя возмущался их барской слепотой, неосведомленностью в искусстве, равнодушием к наукам и ленью мысли.

Даже творения Рафаэля мало волновали их. В Камере Печатей Шубин с величайшим вниманием и наслаждением вновь рассматривал замечательные фрески великого художника. В вилле Фарнезине, перед картиной „Триумф Галатеи“ речь зашла о ее творце — Рафаэле. Шубин горячо и взволнованно говорил Демидову и его спутникам:

— Вот Рафаэль, величайший художник из всех времен! Создания его совершенны! Он жил только тридцать семь лет, и за такой короткий срок чудесный гений его расцвел до наивысшего предела и осветил путь искусства! Вы посмотрите, какое мастерство, какая чарующая тонкость вкуса вложены художником в нимфу Галатею...

Федот не досказал свою мысль до конца. Его грубо, без злого умысла, перебил Демидов:

— Эх, кабы моя Евтихьевна, — воскликнул он, — хоть малую толику была схожа телом с этой Галатеей!..

Шубин, отвернувшись, сказал сквозь зубы:

— Я не буду вам мешать — воображайте, что хотите... — И отойдя от компании, он стал с увлечением рассматривать фрески и изваяния из мрамора.

Демидов и его спутники в назидание потомству делали записи в своих дневниках:

„...Вчера видели Венеру Медицейскую — вся нагая, голова поворочена на левое плечо, правую руку держит, не дотрагиваясь, над грудями, а левою закрывает то, что благопристойность запрещает показывать...“

„...Во Флоренции видели конные статуи. Обе лошади хороши и пропорции весьма изрядной...“

„...Ездили в Портичи, влезали на гору Везувий и смотрели ее действие. Шубин ободрал башмаки и ноги...“

Более ценных и глубоких сведений демидовская компания после себя не оставила. Зато Федот Шубин использовал и эту поездку с наибольшей для себя пользой.

Насмотревшись итальянских достопримечательностей, Демидов и его друзья-приятели на обратном пути из Рима в итальянских и французских провинциях развернулись во всю свою широкую барскую натуру. Они буянили, наносили ущерб владельцам таверен и сторицею расплачивались за свои дикие шалости. Шубин кое-как добрался до Болоньи и дальше решил вместе с ними не ехать.

В Болонье он задержался на несколько дней.

Древний город с архитектурой раннего ренессанса; монументальные храмы, дворцы с длинными аркадами, предохраняющими пешеходов от дождя и зноя, памятники старины, творения многих знаменитых художников, родиной которых являлась Болонья, и, наконец, Болонская академия искусств привлекли внимание Федота Шубина. Он осмотрел достопримечательности города. Познакомился с художниками. Те в свою очередь заинтересовались молодым русским скульптором, приехавшим в их страну из далекой холодной, но воинственной и грозной России.

У Шубина не было с собой ни одной его скульптурной работы. О его творчестве болонские академики могли судить только по его зарисовкам в альбоме. Однако и этого для людей, понимающих настоящее творчество, было достаточно.

В те дни в Болонье скульпторы и живописцы готовились к академической выставке. Шубина пригласили в ней участвовать. Обрадованный таким вниманием, он охотно согласился.

Две недели Шубин, как затворник, сидел в мастерской Болонской академии и делал большой мраморный барельеф для выставки. Казалось, в эти две недели собрались воедино все силы его таланта, трудового упорства и стремления доказать, на что способны русские.

Когда он выставил свою работу, академики Болоньи были удивлены и поражены необычайным мастерством молодого русского художника. Они заметили в нем гениального скульптора-портретиста. В его изумительной работе сказывалось самобытное дарование талантливое холмогорского резчика. Пушистые волосы высеченной на мраморе фигуры казались мягкими — задень их и они сомнутся. Драпировка была так отполирована, что, действительно, белый мрамор было трудно отличить от лионского шелка. Тонкие прозрачные кружева имели полное сходство с кружевами выработки вологодских крепостных кружевниц. А там, где из-под одежды выглядывало голое тело, оно казалось живым, дышащим.

Во всей фигуре, изображенной им, чувствовалось легкое движение. В ней была живая красота...

Зрители болонской выставки собирались группами около шубинского барельефа и единодушно выражали восхищение.

Академики Болоньи по заслугам оценили работу Шубина. Они избрали его почетным членом своей Академии. Выслушав похвалы и не дожидаясь диплома на звание почетного академика, Шубин продолжил свой путь к Парижу. В пути он еще успел догнать кутивших соотечественников и, не поведав им о своих успехах, поехал дальше. На этот раз в Париже он не задержался, отправился в Лондон, а оттуда в Россию, в Петербург...

Диплом на имя почетного члена Болонской академии Федота Ивановича Шубина почтой следовал за ним.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Почти одновременно с возвращением Шубина из длительной заграничной поездки по приглашению царицы Екатерины приехал в Петербург философ Дени Дидро.

Время в России было тревожное. Многотысячные крестьянские отряды под водительством Емельяна Пугачева потрясали тогда восточную часть России. Обеспокоенная Екатерина щедро награждала душителей крестьянского восстания.

Дидро, встретясь с Екатериной, понял из разговоров с ней, что русская императрица в переписке с ним была лжива, что она вовсе не помышляла и не помышляет о подлинных преобразованиях в России, о которых не раз писал он ей из Франции. На щекотливые вопросы французского философа Екатерина, пожимая плечами, отвечала:

— Ах, боже мой, как было бы прекрасно — бесплатное обучение, но понимаете — в России оно невозможно... Вы говорите, создать законодательный корпус, а что же мне тогда делать? Нет, это невозможно... И откуда вы взяли, что помещики обижают крестьян? А вы знаете, как Пугачев сжигает города и села? Нет, невозможно крестьян распускать... Вы не знаете русского мужика: сегодня дай ему волю, а завтра он на радостях напьется и нас же в благодарность за это на вилах поднимет...

Пытался Дидро беседовать с многими придворными вельможами. Он говорил с ними об их обязанностях перед рус-

ским народом, о любви к своей родине, о вреде пресмыкательства перед границей, и понял философ, что вразумления его напрасны, добрые слова остаются без внимания.

Однажды сидел он уединенно в одной из комнат государственной библиотеки. Перед ним лежал развернутый лист бумаги. Чернильные строки еще не засохли. Губы Дидро были плотно сжаты. Он мысленно твердил обращенные к трону устрашающие слова:

„...Твой подданный лишь поневоле нем,
И не спасут тебя ни зоркая охрана,
Ни пышность выходов, ни обольщенья сана,
Порыва к мятежу не заглушить ничем...“

Дидро задумался, откинувшись на спину кресла. Обнажилась тонкая шея. Черный бархатный ворот халата ярко подчеркивал ее белизну.

В дверь осторожно постучали.

— Войдите! — сказал Дидро, нахмурясь.

Вошли двое: живописец Левицкий и недавно приехавший из-за границы Федот Шубин. Левицкий отрекомендовался и попросил разрешения сделать с философа карандашом набросок для большого портрета. Зная Левицкого как талантливого русского живописца, Дидро охотно согласился:

— Рисуйте, но, пожалуйста, в этом халате и без парика.

С Шубиным у него завязалась беседа о Риме, о выставке в Болонье. Узнав, что в Болонье Шубин избран почетным академиком, Дидро от души поздравил его и сказал:

— Это очень кстати. Кто знает, когда бы догадались русские вельможи разглядеть ваш талант. После Рима и Болоньи они тоже приметят и, вероятно, тоже зачтут вас в академики.

Дидро на минуту умолк и посмотрел в сторону Левицкого. Тот примостился на широком подоконнике. Было слышно, как шуршал карандаш по александрийской бумаге, приколотой к доске. Левицкий быстро рисовал, внимательно всматриваясь в энергичное, умное лицо знаменитого просветителя.

— Не старайтесь искать сходства с оригиналом, — едва заметно улыбаясь, проговорил Дидро, обращаясь к живописцу. — У меня каждый день и много раз меняется физиономия. Эти, быть может не для каждого уловимые изменения, находятся в зависимости от того, каким предметом заняты мои мысли...

Шубин приметил, что Дидро чем-то расстроен. Здесь, в России, он выглядел мрачнее, нежели в Париже. Невольно погрузился и Шубин, он подумал: „Ужели царица и ее вельможи, не в меру преклоняющиеся перед Францией, перед ее напыщенным великолепием, не могут и не хотят с должным почетом и уважением принять одного из немногих лучших людей Франции?“

— А вы, друзья, слышали новость? — вдруг оживленно заговорил Дидро. — Наследник Павел женится. Он потребовал, чтобы герцогиня Гессен-Гомбургская привезла ему на выбор в невесты трех своих дочерей. И она их привезла. Одну из них, Вильгельмину, Павел облюбывал, — Дидро усмехнулся и, покачав головой, добавил с иронией: — Герцогиня, конечно, согласна сбыть свою дочь русскому престолонаследнику. Еще бы! Она знает, что запад робеет перед могучей силой вашего народа. И тому есть основания. Я знаком с русской историей, преклоняюсь перед величием Петра, который сумел так быстро и высоко поднять Россию. Великий Петр и Ломоносов — это были действительно верные слуги своего отечества, они помышляли о славе России, они понимали силу, разум и все лучшие качества своего народа и знали, на что способен ваш замечательный народ...

Дидро вздохнул и, понизив голос, продолжал:

— Нынче же я разговаривал с некоторыми русскими вельможами и обнаружил в них напыщенность и нелепое желание во всем подражать французской аристократии. Я приметил у них убожество мысли и брезгливое, высокомерное и жестокое отношение к своему народу. Бесчувственность признается в кругах царицы как добродетель. Не спрашивайте меня, из чего я вывел подобное заключение: иногда одно неудачное слово, выражение или, тем более, поведение давало мне понять больше, чем десятки красивых, но лживых фраз...

Дидро умолк и глянул испытующе на Шубина. Шубин сидел нахмуренный. Слова Дидро ему казались достоверными и неопровержимыми.

— Да, России недостает второго Петра Великого, — сказал Федот задумчиво. — Петр и Ломоносов много сделали для России... — После небольшой паузы он продолжал: — Мы должны всем сердцем принадлежать своему народу. Как художники, мы обязаны по мере сил вмешиваться даже в государственные дела. Не надлежит молчать, когда можно злу сделать помеху...

Дидро, соглашаясь с ним, сказал:

— Проникновение в суть дела — залог успеха. Фальконе вас, Шубин, хвалит, а этот человек зря не расточает похвал. Екатерина возлагает на вас и на Левицкого надежды, это тоже мне известно. Но нет ничего печальнее, имея талант, свежую разумную голову и чистое сердце, быть придворным рабом.

— Придворным еще не значит быть покорным, — краснея вставил Шубин.

— Ах, это не так легко! Разве вам неизвестно, что в дворцовых условиях покорность есть средство стать заметным. Ваша же русская поговорка говорит: „с волками быть — по-волчьи выть“. А ваша императрица, — продолжал неугомонный и резкий Дидро, — для своих любимцев — золотой мешок, рог изобилия. Но что касается интересов народа, тут у нее все отброшено назад и позабыто... Вот вы сказали, друг мой, России недостает Петра. Дайте срок, не Петр, а кто-то другой, но еще более прогрессивный придет. Русский народ выдвинет справедливого, просвещенного и сильного человека, в котором нуждается Россия...

Дидро остановился, провел рукой по лицу и, обращаясь к Левицкому, проговорил:

— Извините, я слишком увлекся разговором с вашим коллегой и мешаю вам работать.

Но Левицкий уже кончал свой набросок. По пути к Дидро живописец и скульптор сговорились не задерживаться долго, чтобы не мешать ему. Шубин осторожно намекнул об этом Левицкому:

— Дмитрий Григорьевич, как ваши успехи?

— Я уже сделал то, что мне нужно. Надеюсь, господин Дидро не возбранит мне зайти к нему в удобное для него время...

На улице молчаливый Левицкий спросил Шубина:

— Так вы с ним встречались в Париже?

— Многократно, и всегда оставалось о нем прекрасное мнение. Сегодня в своих суждениях господин Дидро особенно строг и беспощаден. Очевидно, живя в Париже, он был лучшего мнения о наших управителях.

— Да, — задумчиво промычал Левицкий, оглядываясь назад, — слышала бы его царица — в двадцать четыре часа выпроводила бы за границу.

— Он и без того не задержится, — заметил Шубин. — Видать, не особенно его привлекает пышность двора и вопиющая бедность мужицкого населения России.

Они прошли молча несколько кварталов. В голову Шубину назойливо лезли резкие обличительные слова Дидро о русских вельможах, о наследнике и Екатерине. „Кто знает, — думалось Шубину, — случится работать около этих особ, придется вспомнить сказанные им слова жестокой правды“...

Позже Шубину стало известно от Левицкого и некоторых академиков, что возмущенный лицемерием Екатерины и ее вельмож, Дидро покинул Петербург, даже навигации не дождался. По дороге с ним случилось несчастье: переезжая Западную Двину по весеннему рыхлому льду, Дидро провалился вместе с повозкой под лед и едва спасся.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

... Постепенно Шубин стал входить в моду. Весть о том, что он избран почетным академиком Болонской академии, облетела дворцовые круги. Из уст в уста передавались разговоры о поморе Шубине, который из дворцового истопника стал знатым скульптором. Академия художеств (как и предвидел Дидро) потребовала от Шубина работу для представления его в академики, предложив ему изобразить мифологического „пастуха Эндимиона, заснувшего в челюсти“. Тогда уже среди завистников начались шушуканье и сплетни: „Шубин простой портретной мастер, какой из него академик“...

Шубин знал об этих сплетнях и знал, что распространением их занимается больше всех его недоброжелатель Федор Гордеев, но чувствуя над ним свое превосходство, Федот отмалчивался и упорно занимался своим делом.

Первой его работой в Петербурге был гипсовый бюст князя Голицына. Работа имела успех и, главным образом, благодаря скульптору Фальконе, беспристрастность которого не подлежала сомнению. Окруженный представителями „высшего света“, в присутствии самого Голицына и Шубина, Фальконе, радуясь успеху молодого русского скульптора, то прямо, то со стороны рассматривал бюст и, восторгаясь, пояснял:

— Безупречная работа! Смотрите прямо: какая надменность в этой непринужденной позе. Живой человек! А поглядите отсюда, в профиль, — лицо преобразается, вы видите — надменность исчезла. Нет ее. Выступают черты задум-



Д. А. Безбородко.

Гипсовый бюст работы Ф. Шубина
Государственный Русский музей (Ленинград).



чивого человека, каким вы и знаете князя Голицына. И как бы он ни был богат и счастлив в жизни, вы находите в складках его едва уловимой улыбки уныние. Поставьте бюст рядом с какой-либо античной скульптурой, и вы тогда поймете умение вашего мастера изображать натуру в ее подлинном живом состоянии. Поздравляю, Шубин, поздравляю!..

Бюстом Голицына заинтересовалась Екатерина. За работу Шубин получил от нее в подарок золотую табакерку. Затем последовал указ „никуда его не определять, а быть ему собственнo при ее величестве“. Вскоре Шубину был дан и заказ — сделать из мрамора бюст государыни.

... В Петербурге в ту пору с невероятной быстротой появлялось, разрасталось и богатели купечество. Кроме Гостиного двора и Апраксина торгового двора, пока Федот Шубин учился за границей, появилось множество торговых рядов, в том числе — охотный, лоскутный, ветошный, шубный, табачный, мыльный, свечной, седельный, луковый, холщевый и шапочный. Торговля розничная и оптовая в растущей столице занимала видное место. Купцы входили в моду и на общественной арене начинали понемногу соперничать с дворянством, которое уже побаивалось жить в деревнях и за счет мужицкого труда вело расточительный и бесполезный образ жизни в столице и ее окрестностях.

Купцы делились на три гильдии: кто имел до пяти тысяч рублей и заявил о своем капитале в „шестигласную думу“, тому разрешалось вести мелочной торг, содержать трактир или баню. Это была третья, низшая, гильдия купечества. Ко второй гильдии причислялись купцы, имевшие капитал от пяти до десяти тысяч, они имели право торговать чем угодно, но им не разрешалось торговать на кораблях и обзаводиться фабриками. Купцам первой гильдии надлежало иметь капитал до пятидесяти тысяч, и они могли вести торг с иностранцами и строить заводы. Купцы с капиталом свыше ста тысяч рублей приравнивались к дворянству и считались „именитыми гражданами“. Кроме привилегий, предоставляемых по первой гильдии, „именитые“ освобождались от телесного наказания, им позволялось ездить в экипажах, запряженных четверкой лошадей, и иметь загородные дачные дома...

Были даже купцы миллионеры. К их числу принадлежал Горохов, имевший дома и богатую торговлю на Адмиралтейской. Он был настолько известен своей предприимчивостью, что жители Петербурга стали называть улицу его именем — Гороховой, забыв старое ее название — Адмиралтейская.

Купец Горохов имел близкие знакомства в кругах дворянских. Узнав о том, что в Петербурге, на Васильевском острове, появился мастер, делающий статуи, схожие с живыми людьми, Горохов причесал бороду, заправил широкие суконные штаны за голенища ярко начищенных восковой ваксой сапог, одел синего бархата чуйку, шапку бобровую с малиновым верхом и на четверке сивых матерых коней покатил на Васильевский остров.

Шубин работал над мраморным бюстом Екатерины. Изрядно утомившись, он не прочь был поговорить с приехавшим купцом, отдохнуть, отвести душу в беседе и, если можно, развеселиться. Купцы — народ себе на уме — иногда могут сказать такое, чего от надменного зазнайки-дворянина за всю жизнь не услышишь. Но Горохов был не из шуточных, он знал цену своему состоянию и поведения был сдержанного, но любил похвастать силой рубля и где можно рублем дать отпор любому сопротивлению.

Шубин возился с подмастерьем в мастерской около мраморного бюста. Горохов протянул скульптору руку, назвал себя и, оглядевшись кругом, сказал хриплым голосом:

— Обстановочка того-с! Наверно, холосты?

— Да, пока невесты нет, — ответил, усмехаясь, Федот.

— Питер велик, невест хватит.

— Кому хватит, а для меня пока нет. Богатые купцы стремление имеют своих дочек отдавать с приданным за дворянских сынков, а дворяне своих дочек за купцов нороят выдать...

— Сначала надобно капитал приобрести, а потом супругу завести, — посоветовал купец.

— Так и думаю, — согласился Шубин.

Горохов помолчал, затем поднялся с места и, подойдя к бюсту Екатерины, погладил отполированный подбородок царицы.

— Сколько она, матушка, вам заплатит за труд?

— Не могу знать. Я числюсь дворянским мастером при ее величестве, и потому моя работа без запроса, что дадут...

— Хорошо-с... А скажите, с меня можете статую сделать, чтоб была полная видимость, внукам и правнукам память. За работу не пожалею...

— Простите, не могу, — скромно отклонил скульптор. — Я делаю бюсты с личностей только исторических и, кроме того, очень много работы.

Горохов присвистнул и сказал насмешливо:

— Вот это да! А мы, купцы, разве не исторические личности? Наше дело, браток, это не по камушку молоточком постукивать, не глину месить для этих самых истуканов. Попробуй-ка, побудь неделю на моем месте, узнаешь, что значит быть настоящим купцом!

— Не пробовал, но знаю, — возразил Шубин.

— А чего ж, вы, позвольте знать, смыслите в купеческом деле? — снова спросил купец.

— Да тут и смыслить нечего, таланта особого не требуется быть купчиной.

— Вот как!

— Видал я торгующих всякими товарами и в Петербурге, и в Париже, и в Марселе, и в Лондоне, и многих других европейских городах и приметил, что все вы на одну статью. Даже гильдии различия не производят. Способ наживы один: подешевле купить — подороже продать. Конечно, и в вашем деле к покупателю подход нужно знать, кого и как удобнее опутать. Скажем так: когда покупатель зашел в лавку, вы сразу берете в расчет его внешность, что он за птица. Если мужик, вы с ним по-свойски обращаетесь, он обязательно ваш „земляк“, из какой бы губернии или округа ни был; если поп зайдет — вы, юродивым прикидываясь, с божьим словом подскочите к нему под благословение и начинаете даже попа опутывать обманными словами. Ну, а если какой богатый аристократ забредет нечаянно, вы вокруг его мелким бесом будете вертеться, изгибаться да кланяться, весь товар на прилавок да ближе к свету выложите и такую заломите дурацкую цену, что самому станет страшно. А богатый барин глуп, как баран: что дорого, то, значит, для него, а что дешево, то для простолюдина. И вы или ваш приказчик, смеясь в душе, дерете с него шкуру, которую он, барин, стянул каким-то другим способом с бедного русского мужичка. Что? Неправду я говорю?..

Горохов долго молча таращил удивленные глаза на незнакомого ему скульптора, потом признался:

— Правда-то правда, но только правда твоя очень едка. Одно скажу — не плохой бы из тебя приказчик вышел, а потом, может, и купец.

— Благодарю, я лучше буду „молоточком по камушку постукивать“. У наших холмогорских спина не гнется и язык не повернется ради обмана. В приказчики, в полотеры да в лакеи лучше грязовчан и ярославцев вам не найти...

Шубин снова взялся за резец. Купец, не ожидавший такого прямого и дерзкого разговора, поднялся с места.

Спесь с него была сбита. Он подошел вплотную к скульптору, похлопал его по плечу и сказал вежливым тоном, словно бы прося прощения:

— Милостивый государь, как вас, Федул Иванович, мы с вами разговор не кончили. Возьмитесь с меня фигуру смастерить, хоть из белого, хоть из красного камня. Против царицы Екатерины втридорога заплачу...

— То-то вот, — усмехнулся Шубин. — А я все-таки не буду на вас время тратить.

— Почему?! — уже повысив голос, возмутился Горохов.

Шубин спокойно ответил:

— Да потому, что именитость ваша и богатство к истории не имеют отношения, а что касаясь физиономии, то она весьма невыразительна и творческого вдохновения у меня не возбуждает. Обратитесь к другому мастеру, Гордееву, тот при Академии подвизается, возможно, он вас изобразит нагишом под Ахиллеса... Будьте здоровы...

Горохов понял, что человека с таким характером, как Шубин, рублем не прижмешь и не приголубишь. Он вышел на улицу не в духе, сел в карету, ткнул тростью в спину кучера и сказал сердито: — На Гороховую!..

Когда Шубин сделал бюст Екатерины и снова услышал похвальные речи о своей работе, он осмелел и решил свою близость ко двору императрицы использовать против недоброжелателей из Академии художеств. Он пришел в Совет Академии и сказал:

— Прошу прощения, господа советники, пастуха Эндимиона я не имею времени делать. Будьте добры экзаменовывать меня на звание академика по имеющимся портретным работам, по бюстам, что сделаны для ее величества...

Так Шубин ответил на укоры, что он „простой портретной мастер“. В Академии это поняли, и с его предложением молчаливо согласились, хотя многие навсегда затаили к нему зависть и злобу.

Пятнадцать месяцев Совет Академии решал, как не допустить Шубина в ряды избранных. Но диплом почетного академика Болоньи, растущая среди знатных персон слава талантливого скульптора вынудили петербургских академиков удостоить его звания академика.

Между Сенатом и Архангельской губернской канцелярией все еще продолжалась переписка о беглом черносозном крестьянине Шубном Федоте сыне Иванове. Но теперь придворного скульптора и дважды академика переписка эта уже отнюдь не беспокоила.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Веру Филипповну Кокоринову Шубин знал давно. В первые годы своего учения в Академии, когда в нижнем аппартаменте была устроена выставка рисунков и жанровых статуэток, Федот подарил ей статуэтку „Валдайка с баранками“.

С той поры прошло более десяти лет. Шубин успешно завершил художественное образование. Знатные вельможи при дворе Екатерины наперебой заказывали Шубину мраморные бюсты и барельефы. Работа над бюстами князя Голицына и самой Екатерины окончательно закрепила за ним славу лучшего русского скульптора.

Будучи скромным и немолодым холостяком (ему было уже за тридцать), Шубин не предавался бурным увеселениям. Среди распущенного придворного общества он выделялся своей привлекательной внешностью и крепким поморским здоровьем. Его стали приглашать на балы, на обеды, на маскарады, куда собирался цвет петербургского общества. Дамы устремляли на него свои лорнеты, втихомолку осуждали его за неумение быть галантным в их обществе. Некоторые из них не отказались бы связать судьбу своих дочерей с этим красивым молодцом, но вся беда была в том, что для них Шубин был Федот, да не тот. Вот если бы ему дворянское титуло да тысячек десять крепостных душ и свой особняк в Петербурге — тогда бы разговор был другой. Известный Шувалов, именитые Строгановы, Голицыны, Орловы, горные промышленники Демидовы и многие другие придворные господа, архитектор Кокорин не чуждались знакомства с Шубиным. В близких приятельских отношениях он был с художниками-портретистами Левицким и Аргуновым и с архитектором Старовым, свояком Кокоринова.

Оболенный славой и успехами в обществе, Шубин стал тщеславнее и, случалось, с удовлетворением говорил кому-нибудь из своих приятелей: А я, братец ты мой, был зван к его сиятельству на обед из тридцати блюд. Встретил там многих благородных персон...

В это время возобновилось более близкое знакомство Шубина с Верой Филипповной Кокориновой. Ей было двадцать два года. Держалась она просто, не гордо, не заносчиво. В будни одевалась без крикливости, в праздники — от моды не отставала. Когда случалось ей ехать на бал в Эрмитаж или на представление в театр, она хоть и без особого удовольствия, но в течение нескольких часов до выезда занималась своим туалетом. В гардеробе красного дерева у ней висели платья, шитые по французской моде. Они были различного цвета, и цвета их носили модные названия: „заглушенного вздоха“, „совершенной невинности“, „сладкой улыбки“, „нескромной жалобы“, были и другие цвета, соответствующие моменту и настроению. Выбрав подходящее платье, Вера Филипповна отдавала его прислуге утюжить, а сама тем временем делала модную прическу: поднимала волосы на четверть аршина над головой, подпирала страусовыми перьями — такая прическа называлась „а ля Шарлотта“. Затем она пудрила свое пухленькое, со вздернутым носиком лицо, подводила сурьмой русые брови.

На пузатом комодике у Веры Филипповны, как и у всякой взрослой девицы, стояла заветная коробочка с зеркальной крышечкой, наполненная тафтяными мушками различных размеров — от блохи до гривенника.

Когда она рассчитывала встретиться с Федотом Ивановичем, туалет ее был особенно тщателен. Вера Филипповна задумывалась тогда перед зеркалом, какую ей выбрать мушку, одну или две и как их разместить на лице. Мушки в те времена давали возможность без слов объясниться с кавалерами: мушка звездочкой на лбу означала величие; мушка на виске у глаза говорила о необыкновенной страстности; мушка на верхней губе означала кокетливую игривость, мушка на носу — наглость, мушка на щеке — согласие; под носом мушка — друг в разлуке; крошечная мушка на подбородке означала — „люблю, да не вижу...“

Собираясь в этот раз на бал к Демидову, Вера Филипповна украсила мушкой подбородок, это было не так заметно и подходило — „люблю, да не вижу“, а чего „не вижу“ — пусть сам догадывается.

На белоснежную шейку она в два ряда одела жемчуг; бусы из беломорского жемчуга спускались на грудь в вырез модного платья цвета „совершенной невинности“. Башмаки с длинным носком в виде стерлядки сжимали втугую ее ноги. Наконец, оставалось sprysнуть себя розовыми „усладитель-

ными“ духами, одеться в верхний фасонистый салоп и, можно сесть в санки, запряженные парой лошадей. Санки у брата Веры были не хуже, чем у других персон. Снаружи отделанные позолоченной бронзой, изнутри обитые синим бархатом, санки закрывались медвежьей полостью. Два узких железных полоза сходились над передком вплотную конусом и завершались позолоченной медвежьей головой. В кольцевидные уши медвежьей головы просовывались кручёные из тонких сыромятных ремешков вожжи. Сбруя на откормленных лошадях блестела начищенной медью.

Вера Филипповна уселась в санки рядом с братом, слуга заправил медвежью полость, кучер щелкнул хлыстом, крикнул: „Побе-ре-гись!“; кони рванули с места и опрометью понесли туда, где около пышногo особняка стояло множество экипажей, а около них разгуливали кучера и важные форейторы — умелые мастера править самыми бойкими лошадьми. В окнах барского дома обилие света от множества зажженных люстр. Гремела музыка. В нижнем этаже в раздевальне сutoлока.

По лестнице сбегает раздумянный Федот Шубин, на голове волосы буклями, из прорези черного бархатного камзола блестит золоченый эфес шпаги. Он улыбается, целует руку Веры Филипповны и кланяется ее брату, а ей, своей возлюбленной, помогает снять салоп. Затем они поднимаются по лестнице в зал, переполненный блестящей публикой.

Балы и маскарады в дворянских и княжеских особняках устраивались нередко. Шубина тянуло сюда не столько веселье, сколько желание чаще встречаться с Кокориновой. Он постепенно стал чуждаться не только Гордеева, с которым определились враждебные отношения, и все реже и реже стал бывать в Академии.

Как-то возвращаясь от Демидовых с бала, они, доехав до Дворцовой набережной, отпустили кучера, а сами решили пешком прогуляться до Академии художеств, где временно после пожара проживало семейство Кокоринова.

Над городом стояла белая петербургская ночь. Розовел солнечный восход, золотом горел крест на шпиле колокольни Петропавловского собора. Шубин и Вера Филипповна шли, не спеша, рука об руку, любуясь на розовеющую поверхность Невы. Улицы были почти безлюдны. Редко проходил запоздалый пешеход, еще реже, гремя подковами, проезжала ночная стража. Шубин и его спутница тихо беседо-

вали и время от времени, останавливаясь, осторожно, украдкой, целовались.

Вдруг перед ними, как из-под земли, появился одинокий пешеход. Одет он был в оборванный не то лакейский, не то в какой-то казенный кафтан, на котором еле держалось несколько пуговиц с гербами ее величества. Ноги его были босы, а сквозь дырявые брюки виднелось голое тело.

Увидев счастливую пару, он возгласил нараспев:

— О, мои дорогие купидончики! Вы в сорочке родились... Вы счастливы, вы наслаждаетесь благами жизни. Души ваши распахнуты перед красотами природы. Но я не завистлив... Я радуюсь, когда вижу счастливых людей... Так пусть же частица вашего счастья падет и на меня...

Тут встречный выдержал небольшую паузу и, приблизившись к остановившимся молодым людям, требовательно произнес:

— Дайте рубль...

Шубин увидел перед собой распухшее от алкоголя лицо незнакомца. Вера Филипповна, не задумываясь, раскрыла бархатную, шитую жемчугом сумочку и щедро вытряхнула пьянице на шершавую ладонь горсть серебра.

— Идите с миром! — возопил тот, обрадованный подачкой. — Благословен ваш путь... век бога буду молить... да спасет вас господь...

— За себя молись, а мы люди свободомыслящие, как-нибудь без молитв обойдемся, — в шутку ответил Шубин, полагая, что пьяница получил свое с лихвой и теперь оставит их в покое.

— Разве?! — удивленно воскликнул встречный, сжимая в руке серебро. — Прекрасно! Прекрасно! Люблю таких, умом постигших вселенную... И у меня есть голова на плечах и не совсем порожняя...

Но Вера Филипповна кивнула Федоту и, к его изумлению, обратилась к прохожему, как к старому знакомому:

— Дяденька Гриша, ступайте своей дорогой, не мешайте встречным...

Тот от неожиданности точно обезумел, устал на Веру Филипповну мутные глаза и, не узнавая ее, с дрожью в голосе спросил:

— Так вы меня знаете? Нехорошо, барышня!.. Как это плохо! — Он взмахнул рукой и швырнул на мостовую деньги. Серебро, припрыгивая и звеня, покатилося врассыпную.

— Мне не надо. Вы меня знаете... Не надо! — завопил он и, ухватившись обеими руками за лохматую, ничем не покрытую голову, чуть заметно пошатываясь, быстро пошел от них прочь. Вера Филипповна оглянулась ему вслед и, покачив головой, грустно сказала:

— Несчастный... А талантливый человек пропадает... Надо сказать о нем брату...

— Кто это такой? — с любопытством спросил ее Федот. — Откуда ты его знаешь?..

— Это Гриша Дикушин...

— Дикушин? — удивленно протянул Шубин. — Бывший крепостной графа Шереметева, архитектор-самородок? Я о нем как-то слышал от Ивана Петровича Аргунова. Так это он!

— Он самый, — подтвердила Вера Филипповна и, обернувшись, еще раз посмотрела ему вслед и грустно заговорила:

— Я его не раз видела у брата. Брат всегда хвалил его проекты. По ним строились дома и усадьбы в Москве и под Москвой. Но Дикушин — человек с упрямым характером. Он гордец... С каким отвращением он швырнул деньги... Гордец, да... А вот опустился до кабаков и, говорят, напиваясь, шумит: „Не строить, но жечь надо!“ Несчастный человек: его и розгами пороли на съезжей, и плетями хлестали в тайной канцелярии. Другого бы давно в Сибирь упекли или насмерть забили, а его Шереметев придерживает — польза есть от человека, не глуп, стало быть...

Вера Филипповна рассказывала о Дикушине, а Федот, не перебивая ее, слушал и сосредоточенно о чем-то думал. Наконец он проговорил:

— А знаешь, Вера, Дикушин остался Дикушиным. Таких как он, легче сломить, нежели согнуть. И вот он уже ходит надломленный, с трещиной... Слов нет, горька его участь. Я ведь знаю, он вытеснен отовсюду за правоту своих грубых и резких суждений. Пусть он не достиг почета, но честный человек скорей позавидует ему, нежели услужливому таланту, приседающему у края барского стола.

Голос Шубина при этих словах резко изменился.

— Милый, ты кажется расстроен этой встречей? — тревожно спросила Вера Филипповна, испуганно заглядывая в его потускневшее лицо.

— Нет, я только подумал: какое сегодня место занимал я за столом у Демидовых, и не смел ли я хозяину в рот, как пес, жаждающий подачки?

— Да что ты! — воскликнула Вера Филипповна: — Этого не было! Как раз не было... — добавила она взволнованно. — Я и люблю тебя за то, что ты непохож на других.

Но Федот уже не слушал ее, он шагал, слегка поддерживая ее, и говорил как бы сам с собою:

— Мне обязательно с ним надо встретиться! Познакомиться, потолковать.

— С кем, с Дикушиным? — спросила удивленно Вера Филипповна.

— Обязательно! — резко повторил Шубин и мягче добавил: — Ну, да, с Дикушиным! Ты скажи мне, когда он придет к твоему брату, я с удовольствием встречу с ним. Падающего надо поддержать. Свой человек...

Они дошли до пловучего Исаакиевского моста. Тихо, чуть заметно покачиваясь на невских волнах, скрипели понтоны, скрепленные толстыми просмоленными снастями. У причалов стояли баржи и парусники, на палубах сонно потягивались водоливы. В свежем утреннем воздухе пахло смолой и рыбой.

Федот и Вера Филипповна молча добрались до квартиры Кокориновых и у парадной двери расстались без поцелуев и улыбок...

Когда он пришел домой, было уже раннее утро. Солнце поднялось над крышами домов, оживали улицы, усиливался стук, топот и грохот по каменным мостовым. Мысли не давали покоя. Спать не хотелось. Федот подошел к столу, разложил лист толстой бумаги, привезённой еще из Болонской академии, и принялся рисовать силуэты — свадебный подарок невесте.

В центре листа, в овале, он по памяти нарисовал профиль Веры Филипповны. Покатый лоб, чуть заметно вздернутый нос, тонкие губы, слегка приоткрытый рот, полный подбородок и короткая шея говорили о некоторой тучности невесты. Толстая коса спускалась на спину.

— Похоже, но это не то, — сказал сам себе Шубин. — Вот поженимся, уговорю Аргунова написать с нее настоящий портрет... а это так, для забавы и воспоминаний.

По углам он силуэтами изобразил сцены из жизни своей и Веры Филипповны. Внизу слева — двенадцатилетняя Верочка, в коротком платьице с крылышками, как у гения, стоит на цыпочках перед взрослым, по форме одетым учеником Академии художеств и... выпрашивает у него статуэтку. Вверху — Шубин по возвращении из-за границы встре-

чается с ней, уже взрослой, распростерши объятия. Внизу, справа, они — жених и невеста...

После неожиданной встречи с крепостным архитектором Григорием Дикушиным Шубин стал редким посетителем петерских салонов. Участь Дикушина заставила его оглянуться на свое деревенское прошлое и призадуматься над самим собой. Кто знает, что ждет его впереди? Рассудок подсказывал, что царскому двору и вельможам нужны талантливые люди — художники, скульпторы и поэты — только для того, чтобы они своим искусством превозносили до небес родовитую дворянскую знать. Такие мысли часто появлялись у молодого скульптора, пока еще не испорченного новой средой. В часы раздумья он вспоминал советы Михайла Ломоносова и, осуждая себя за всякий неправильный шаг, говорил:

— Нет! Я буду служить только одной правде, даже будучи уверен, что она в кругах царицы ненавидима. Эх, кабы Михайло Васильевич был в живых!..

Незадолго до женитьбы на Вере Филипповне, Шубин купил на Васильевском острове в рассрочку одноэтажный деревянный домик с пустым каретником во дворе. Квартирку из трех комнат он сам привел в порядок — выкрасил пол, выбелил стены, а на потолке, по углам и посредине, сделал лепные украшения.

Скоро состоялась не очень пышная, но и не бедная свадьба.

После венчания у Кокориновых собрался небольшой круг друзей. Был родственник Веры Филипповны архитектор Старов с женой, Демидовы, Аргунов с женой и Левицкий.

Вера Филипповна просила своего мужа устроить свадебную поездку до Москвы и обратно, но Федоту предстояло много работы, он дорожил временем и пообещал прокатить молодую жену на масляной неделе до Гатчины на четверке, с диким гиканьем и свистом „на унос“.

Но и этого не случилось, так как в понедельник на масляной приехали в Петербург на оленях лопари и ненцы. Они раскинули чумы из оленьих шкур за арсеналом на Неве против Литейной улицы, и Федот Иванович предпочел поездку на оленях по Неве до Шлиссельбурга. Вера Филипповна охотно с ним согласилась. На узких нартах, запряженных четверкой выносливых оленей, они помчались не путем дорогой по насту в туманную ладожскую сторону. Рябой узкоглазый ненец сидел на передке нарт и, не оборачиваясь на седоков, причмокивал и выкрикивал что-то невнятное по-

адресу своих послушных животных. Длинным легким хореом он то и дело хлестал по спине вожака, который ростом был выше остальных трех оленей и рога имел гораздо ветвистей — похожие на куст засохшего вереска.

Сидеть на нартах было тесно и неудобно. Давно уже Федот Шубин не ездил так, и эта поездка навела его на воспоминания о двинских просторах, о юношеских годах, проведенных в Холмогорской округе, где в зимнюю пору езда на быстроногих оленях не новинка.

Вера Филипповна сидела в объятиях мужа, крепко держась за его кушак.

— И вывалимся так вместе! — смеясь говорила она, разрямяненная морозным воздухом.

— Нет, падать с нарт нельзя! — возражал ей муж. — Выпадем оба, обратно пешком придется итти. Ведь этот Хатанзей, или как его звать, не обернется до самого Шлиссельбурга и не посмотрит, тут ли его седоки? Я знаю этот народ. Кажется, нет на свете людей хладнокровней, спокойней и выносливей их. А доверчивы они, как дети... Петр Первый, не тем будь помянут, иностранным королям дарил их. За эту дикость я и умного царя не могу похвалить...

Олени мчались ровно и стремительно. Над замерзшей Невой по берегам возвышались густые хвойные леса, и тянулись они от этих мест через весь русский север до самой Камчатки.

— Вот привезти бы мне тебя в Денисовку на оленях... То-то удивил бы мужиков!

— Мне не страшно, в Денисовку, так и в Денисовку, с милым рай и в шалаше! — соглашалась Вера Филипповна, но это согласие было весьма условным: знала, за кого выходила, дважды академику низко место в Холмогорах!

...Накануне чистого понедельника, после шумного гулянья на Неве, Вера Филипповна с двумя возами сундуков и мебели переехала от брата к своему мужу.

Федот, показывая ей жилище, говорил ласково:

— Квартирка не велика, не то что у твоего брата. Однако никакие украшения не скрасят так наше скромное жилище, как славная и добрая жонка!

— Но где же ты будешь работать? У нас такие маленькие-маленькие комнатки. А мне не хотелось бы, чтобы ты куда-то надолго отлучался из дому.

— Для работы я приспособлю каретник у нас во дворе. Там будет моя мастерская, она заменит мне храм и любой господский салон.

— Я знаю, ты жадный на дело, — заметила Вера Филипповна, — но и обо мне не забывай, не преврати меня в затворницу. Будем ведь иногда бывать и в обществе знатных людей?

— Разумеется, но, ради бога, не часто.

— Почему? — хмурясь спросила Вера.

— Если муж твой будет счастлив и славен, плохо ли это?

— Искренне, от всей души и чистой совести желаю.

— Ну, вот. А счастье и слава даром не даются. Я приобрел знания и должен употребить их на дело. Наука, не дающая плодов, подобна пчельнику, наполненному не медом, а трутнями. В работе, а не в гульбищах под музыку я вижу наслаждение...

Поговорив о своих житейских делах, супруги принялись расставлять в комнатах привезенную мебель, цветы и прочую утварь. Вера Филипповна отпирала кованые сундуки, доставала из них платья и развешивала в гардероб.

— А вот эту статуэтку узнаешь? — улыбаясь, спросила Вера Филипповна, показывая Федоту „Валдайку с баранками“. — Я берегла ее лучше глазу...

На стене над комодом они повесили в золоченой рамке темный силуэт Веры Филипповны, почему-то с малюсенькой, чуть заметной короной на голове. А рядом — красочный портрет скульптора, им самим писанный.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Однажды летом Федот получил приглашение от графа Шереметева прибыть на освящение и осмотр нового его дома на Фонтанке. Граф пригласил четверста человек гостей на новоселье. Среди приглашенных были не только сановники, родовитые дворяне и богатые купцы. Были тут и прославленные мастера трех художеств, присутствием которых графу хотелось показать свою приверженность к искусствам, а также покровительство талантливым людям.

За последнее время занятый непрерывной работой над бюстами по заказу дворцовой канцелярии, Шубин редко бывал в увеселительных местах и среди знатных особ. Балы, гулянья и особенно сборы на балы отнимали у него слиш-

ком много драгоценного времени. Но как ни занят он был, как ни дорожил временем, поехать на бал к Шереметеву следовало.

Пара графских жеребцов, запряженных в коляску, неслась по мостовой. Поддерживая Веру Филипповну, Шубин, озаренный улыбкой, смотрел по сторонам на мелькавших прохожих и весело покрикивал:

— Замечательные кони! Звери — не лошади!..

Кучер, крепко натянув вожжи и не поворачиваясь, ответил на похвалу Шубина:

— Наш барин кляч не любит. У него что скотина, что люди служилые — все на подбор. Видали, какой домище ему мужики сгрохали — дворец! — И кучер повернул коней в сторону громадного графского дома с массивными колоннами. Внутри и снаружи дом был залит светом только что вошедших в моду ярких кулибинских люстр и фонарей. У подъезда вдоль Фонтанки и в переулке стояли пары, тройки, четверки лоснящихся, упитанных лошадей. Тут же расхаживали матере, в ливреях, гайдуки, присматривая за лошадьми в богатой упряжи. Посторонних никого не подпускали близко.

Федот и Вера Филипповна разделась в швейцарской и, мягко ступая по ковровым дорожкам, прошли в залы.

За длинный ряд столов, покрытых серебристыми скатертями и заставленных всевозможными яствами и винами, сидели гости. Тут были обрюзгшие сановники, щеголи и дамы-франтихи, с талиями рюмочкой и широчайшими подолами. Мужчины, независимо от возраста и звания, в напудренных париках, гладко выбритые. Исключение составлял нижегородский изобретатель старообрядец Кулибин, полуаршинная борода которого клином спускалась на старинный парчевый боярский кафтан. На хитроумного нижегородца одни смотрели, как на шута, другие видели в нем всемогущего колдуна, умевшего и часы говорящие смастерить, и замки поющие, и даже висячие мосты через Неву навести...

Когда все гости уселись по местам, грянул скрытый на антресолях духовой оркестр. Зазвенела посуда, послышался веселый говор. Подняли бокалы за хозяина дома, потом за его строителя архитектора Савву Ивановича Чевакинского, сидевшего поблизости от скульптора Шубина. Чевакинский в ответ на поздравления поднял в свою очередь бокал и произнес витиеватую речь о бессонных ночах, проведенных им за составлением проекта и чертежей шереметевского дома. В конце речи он сказал:

— Я пью за самородные российские таланты, оказавшие усердную помощь в строительстве графского дома! — И архитектор громко назвал Григория Дикушина.

— Пью с удовольствием! — воскликнул Шубин и, оборотясь к Чевакинскому, который был, пожалуй, вдвое старше его, чокнулся с ним.

Выпил и спросил:

— А где же Дикушин? Я хотел бы его видеть.

— Его не трудно видеть, — сказал архитектор. — Он где-нибудь внизу угощается с дворовыми людьми. А вы знакомы с ним?

— Не имел чести, но слышал о нем от живописца Ивана Петровича Аргунова и однажды случайно встретил его.

Шубину не сиделось за общим столом. Ему хотелось пойти в нижние комнаты и разыскать там Дикушина. Вера Филипповна заметила нетерпение мужа и, стараясь отвлечь его, подала Федоту карточку-меню с большим выбором различных яств. В позолоченной рамке в длинном списке значились: губы лосиные, медвежьи лапы разварные, жареная рысь, бекасы с устрицами, бычьи глаза в соусе, петушиные гребни в сметане, ананасы, девичий крем в винограде и прочее с русскими и французскими названиями.

— Да тут, пожалуй, можно насмерть объесться, — шепнул Шубин жене и поставил карточку-меню на середину стола к серебряной вазе. Услужливый лакей подошел сзади и, склонившись, поставил перед четой Шубиных устрицы с бекасами. Шубин, позабыв о правилах поведения, покосился на кушанье и сказал лакею:

— Мне бы свежей морошки...

— Этого нет-с!

— Ну, тогда каргопольских рыжичков.

— И этого нет-с.

— Ай-ай, как же так, такой обед закатил граф и без рыжиков и без морошки! Устриц с бекасами я не хочу, брюхо от них заболит...

— Федо-о-т! — протянула Вера Филипповна и, уставив на него большие голубые глаза, шепнула: — Пей меньше, в хмелю ты грубоват и неугож...

Обед продолжался добрых три часа. Потом под звуки оркестра гости осматривали анфилады богато убранных комнат. Потом в зале, где происходил обед, столы быстро исчезли и на лощеном паркетном полу начались танцы. Неожиданно для гостей раздвинулась боковая стена, и зал превра-

тился в домашний театр. Выступила певица и пропела что-то на итальянском языке. Многие, ничего не понимая, все же восхищались ее пением. После певицы вышел на сцену бывший директор Московского университета, а ныне вице-президент Петербургской берг-коллегии поэт Михаил Матвеевич Херасков. Вытянув правую руку с бумажным свитком, он начал читать свою оду на богатство:

Внемлите нищи и убоги,
Что музы мыслят и поют:
Сребро и пышные чертоги
Спокойства сердцу не дают.
Весною во свирель играет
В убогой хижине пастух;
Богатый деньги собирает,
Имея беспокойный дух.
Богач, вкушая сладку пищу,
От ней бывает отвращен;
Вода и хлеб приятны нищу,
Когда он ими насыщен...

Гости настороженно притихли, а поэт вдруг резко и крикливо, как вызов, начал бросать язвительные слова в разряженную толпу вельмож:

Хоть вещи все на свете тлеют,
Но та отрада в жизни нам:
О бедных бедные жалеют,
Желая смерти богачам...

Стихи прозвучали дерзко. Гости начали переглядываться. После нескольких секунд недоумённого молчания раздались довольно жидкие, запоздалые аплодисменты и восторженный голос Федота Шубина:

— Bravo! Сущей правде, bravo!..

Вера Филипповна дернула его за рукав и выразительно посмотрела на него.

— Федот, уйдем лучше отсюда, если не умеешь себя вести, — сдержанно и строго проговорила она ему на ухо.

— Зачем!? — возразил Федот. — Приехали на бал последними, а уедем первыми? Не дело изволишь говорить, дорога... Я еще должен Дикушина среди дворни разыскать и намерен его к себе позвать.

— Ради бога не сегодня.

— А почему же не сегодня?

На сцену вышел старческой походкой приглашенный из Москвы поэт Сумароков.

Шубин, махнув рукой, сказал:



Екатерина II.

Мраморная статуя работы Ф. Шубина.
Русский Художественный музей (Ленинград).



— Вот этого я и слушать не хочу. И, умирая, не прошу я ему дерзости, высказанной им у гроба Ломоносова...

Он направился к выходу из зала, увлекая за собой Веру Филипповну.

— Впрочем, ты останься пока здесь. У тебя знакомых тут не мало. А я и в самом деле поищу Дикушина.

— Федот, ради бога недолго!

— Постараюсь, голубушка...

Он спустился в нижние комнаты и там после многих распросов узнал, где находится Дикушин. Тот уже изрядно выпил и, как человек в хмелю ненадежный, был предусмотрительно водворен в тесную каморку под лестницей.

— Кто его туда запер? — возмутился Шубин, дергая дверь с большим висячим замком на пробое.

— Это мы, барин, по своей доброй воле его спрятали, чтобы неприятностей не учинил... Трезвый он смиренный, а выпьет — и на руку дерзок и на слово невоздержан. Так-то лучше для него... — пояснили люди, очевидно ему близкие.

Федот с минуту постоял в раздумье, прислушался; за дверь возился на полу Дикушин и мычал:

— Люди пьют да веселятся, а нам грешно и рассмеяться. Да отворите же, дьяволы!..

— Проспись, Гриша, проспись, — посоветовал один из присутствующих, — тебе же будет лучше! — И, обернувшись к Шубину, спросил:

— А что, барин, он вам очень понадобился?

Шубин достал из потайного кармана записную книжечку, написал на листочке свой адрес и сказал одному из дворовых, который ревностно охранял подступ к двери, ведущей в каморку:

— Вот передай Дикушину, когда он протрезвится, и скажи: зять Кокоринова, друг Аргунова скульптор Федот Шубин хочет видеть его у себя в гостях.

На утро, еще не успел Шубин проснуться после шереметевского бала, как явился к нему Григорий Дикушин. Он был выше среднего роста; на широком бритом лице выступали багровые пятна — следы частого похмелья, руки дрожали. Стоя у дверей, он звал и крестил рот. Вид у него был весьма неприглядный. Шубину было известно, что Дикушин, крепостной архитектор-самоучка графа Шереметева, вместе с другими способными людьми был вытребован в Питер для работы на строительстве графского дома и теперь ожидал отправки в Москву: там Шереметев задумал тоже

возвести дворец, в Останкине. Туда же он пригласил и Федора Гордеева украшать лепкой внутренние покои дворца.

— Я столько слышал о вас от живописца Аргунова и от своей жены, урожденной Кокориновой, что пожелал увидеться и ближе познакомиться с вами.

— Весьма приятно слышать, но вряд ли обо мне люди говорили хорошее, — усмехнулся Дикушин. — Человек-то я такой... расшатанный. Нельзя нашему брату быть умнее самого себя. Не скрою, Федот Иванович, я познал кое-что, хоть и не бывал в заморских странах. Проекты с присовокуплением чертежей и описаний — всё могу. Но как волка ни корми, он в лес смотрит. Как меня ни учили, а вот руки мои готовы бросить циркуль и ухватиться за топор...

— Почему? — перебил Федот собеседника, подсаживаясь ближе и глядя ему в глаза. — Разве плотничье ремесло важнее таланта архитектора?

— Нет, не плотничать, а головы бы рубить барам... Может быть, вам такой разговор мой и неприятен, но я не боюсь говорить то, что думаю...

— Ладно, ладно, Григорий, давайте-ка лучше поговорим об искусстве, о том, как вы постигли без ученья в академиях великое дело архитектора? Где и как помышляете употребить свой талант?

— Талант, талант! — повторил Дикушин, горько усмехнувшись, покачал головою и начал резко выкладывать давно наболевшее и, быть может, никому невысказанное:

— Эх, брат, никакого таланта, а главное, никакой славы, одна суета и боль на душе. Мужик я подневольный — больше ничего. Правда, здесь вот кое-что есть, — указал он на широкий, гладкий свой лоб, — да что толку? При жизни — одна нужда и умру — никто добрым словом не вспомнит. Было такое дело, строили мы в Замоскворечье храм в честь папы Климента, планы самого Растрелли отвергли, своим мужицким умом решили сотворить полностью от фундамента до креста. Иностранцы картины теперь пишут с той церкви, столь она великолепна, и спрашивают: „чье это творение?“, а протопоп им отвечает: „Это безымянные шереметевские мужички строили“... У собаки и той есть имя, а мы „безымянные“... вот оно как! Так какой же смысл трудиться ни за спасибо, ни за грош. И потомство знать не будет. А ведь человеку и по смерти хочется память о себе и делах своих оставить. Не так ли?

— Так, так, — согласился Федот, присаживаясь еще ближе к интересному собеседнику.

— Иностранцы за „папу Климента“ большие бы деньги взяли, а нам — что? — Дикушин безнадежно махнул рукой и, пригибая пальцы, начал перечислять: — Обьедки, обноски, зуботычины, колотушки и денег ни полушки!.. Да не я один в таком состоянии дель, — продолжал горячо и убедительно Дикушин, — а скажем, известный чудодей Кулибин! Во всем свете такого мудреца нет! Светлейший князь Потемкин дорожит им, при себе содержит, чтобы в любом случае немцам доказать, что нет ни одной такой немецкой хитрости, которую не перехитрил бы Кулибин... Чудеснейший изобретатель-механик, а не у дел...

— Слышал про его висячий мост, а посмотреть пока не удосужилось, — признался Шубин, — все дела, дела...

— А вы отдохните от дел, полюбуйтеесь и оцените премудрость нижегородского мужика. Модель моста тут недалеко, во дворе Академии над прудом возведена. И пока втуне. Нет применения, кто-то из сановных притесняет плоды русского ума! Денег, говорят, нет на настоящий мост. Нет денег! А за французские кружева, что на камзоле графа Зубова, уплачено тридцать тысяч рублей!.. Бриллиантовые пуговицы у Ланского в восемьдесят тысяч рублей обошлись. Тут как? А Кулибину на устройство модели с грехом пополам тысячу отвалили!.. Попробуй, развернись!

Дикушин закашлялся и на минуту прекратил разговор.

— Написать бы жалобу самой царице, — нерешительно посоветовал Шубин и сам почувствовал никчемность своего совета.

— Жалобу? — Дикушин безнадежно махнул рукой. — Да разве слезница поможет? Нет, Федот Иванович, нашему брату некуда податься: в земле черви, в аду черти, в лесу сучки, а в суде крючки. Только и ходу, что в петлю да в воду!.. Ты не подумай, я не корыстный и не завистник. Нет. А злой я на порядки — это верно... Слышно, вон, за Волгой Емельян Пугачев объявился, поделом усадьбы барские сжигает. Наш барин Шереметев одной ногой в гробу стоит, а гонит нас из Питера обратно в Москву еще новый дворец ему строить. А у меня думка, собрать бы рабочих людишек побольше да лесами податься к Пугачеву, тогда, может быть, и наша служба барам не пропадет даром...

Он вопросительно посмотрел на Шубина и, прикрывая ладонями заплаты на штанах, притих.

— Что ж, — вздохнул Федот, — такие головастые люди, как ты, для Пугачева — хорошая находка... — Но после длительного раздумья сказал: — Были и раньше — Болотников Ивашка и Разин Степан, да случилось так, что оба казнены. И третий не устоит перед войсками...

— Что же делать: строить господа храмы, а господам строить хоромы и подставлять под плеть свою спину, так, что ли?

— Строить и строить на века! — резко и утвердительно произнес Шубин. — Строить и думать, что в будущем за творения наши скажут спасибо нам свободные потомки.

— Пожалуй, и Пугачева одолеют, — помолчав, согласился Дикушин. — И все-таки этим еще не кончится...

В комнату вошла Вера Филипповна.

— Я вам не помешала? — спросила она и пригласила обоих к столу.

Потом вместе с Дикушиным Шубины вышли прогуляться до Академии Наук, посмотреть там во дворе над прудом чудо кулибинской техники — всякий мост.

Для Дикушина модель не была новостью. Он внимательно осматривал ее несколько раз, изучил и осмыслил все особенности и подробности моста. Со стороны Шубина и Веры Филипповны кулибинская модель моста вызвала возгласы восхищения.

— Я так и знал, что удивитесь, — заметил Дикушин. — Вот вам и нижегородский мужичок!.

Модель была в десять раз меньше предполагаемого моста через Неву. Но это был настоящий, четырнадцать сажен длины горбатый мост, перекинутый над прудом. Мост охранял отставной солдат. Он вышел из будки и, опираясь на алебарду, повел Шубиных и Дикушина вокруг пруда. Видимо, не раз слыхавший пояснения самого Кулибина, он подробно рассказывал им о модели.

— Четыре годика Иван Петрович трудился над этой машиной. Вся модель, видите, что те кружево сплетена из клеток стоячих и лежачих. Деревянных брусьев тут тринадцать тысяч! Винтов железных пятьдесят тысяч без трехсот штук! Да еще немало всякого прикладу. Тяжеленный, а весь держится на береговых опорах. Такой, только в десять раз больше, и через Неву может служить, а грузу выдержит пятьдесят пять тысяч пудов...

Кулибин все взвесил и высчитал. Середина моста на Неве должна быть на двенадцать сажен над водой, чтоб корабли,

парусники и фрегаты под него проходили, не задевая мачтами. И чтобы горб моста был не слишком крут, въезд на мост предусмотрел Кулибин с улицы за девяносто сажен от невского берега...

— Да! Это не только талантливо, но и необычайно смело!.. — восхищался Шубин.

— Хорошо еще, что их сиятельства его сумасшедшим не признают, а пока за чудака-простачка принимают, — возразил Дикушин. — А то еще я слышал от добрых людей, нашелся один смыслённый человек по фамилии Торгованов, предложил он вместо моста подкоп под Неву сделать, чтобы пешим и конным передвигаться можно было. Над тем человеком посмеялись, выпроводили из верхних канцелярий и сказали: „не глупи, дуралей, а упражняйся в промыслах, состоянию твоему свойственных“. Так-то, Федот Иванович!..

— Да, помех в добрых делах не мало есть. Но придет время: и мосты висячие над Невой, и ходы подземные для общего пользования — всё будет! Ведь мысль человеческая быстрее всего на свете, она, забегая вперед, угадывает заранее, что в будущем должно быть...

Дикушин и Шубин, осмотрев модель Кулибина, расстались друзьями.

Вскоре после этой встречи Дикушин вместе с другими крепостными мастерами графа Шереметева отправился из Петербурга в Москву. Там, в пригороде, он строил особняк, который известен под названием Останкинского.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Заказов Шубину на бюсты и барельефы было много. Как и прежде, заказы поступали не через Академию художеств, а исходили из „канцелярии ее величества“. Каждому знатному вельможе хотелось иметь бюст или барельеф шубинской работы. За эти годы были высечены из мрамора бюсты графа Чернышева, генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского, адмирала Чичагова, князя Потемкина-Таврического, полициймейстера Чулкова, представителя нарождавшегося торгово-промышленного класса Барышникова и многих других.

— Люди не кирпичи, не все одинаковы, в каждом есть что-то свое, особенное, — говорил Шубин своим помощникам. — Особенности надо уловить и в скульптуре так подме-

тить, чтобы человек был виден в изображении и с хорошей и дурной стороны...

У Шубина так и выходило...

Старый холостяк и неутомимый ловелас Безбородко много лет исполнял обязанности личного секретаря и ближайшего советника по иностранным делам при Екатерине. Царица находила его незаменимым. Она знала, что Безбородко содержит целый гарем любовниц и подчас сурово отчитывала его за это. Но тучный Безбородко, если случалось это наедине, только отшучивался.

Екатерина многое прощала ему, так как и сама была далеко не безгрешна. О поведении ее ходило немало достоверных нелицензированных слухов и дома и за границей. Маркиз де Парелло в своих мемуарах вещал на всю Европу, что русская государыня, имея фаворитов, которых роскошно содержит в императорском дворце, потворствует собственным примером распущенности нравов. Правда, против разгульной жизни Безбородко царица принимала некоторые меры. Однажды, узнав, что он за две ночи выбросил итальянской певички Давиа сорок тысяч рублей, она распорядилась немедленно выслать певичку за пределы России.

Безбородко отнесся к этому безразлично. Ему было не жаль ни певички, ни денег, так как он уже увлекся актрисой Урановой, только что выпущенной из театрального училища. А у той было намерение выйти по любви замуж за актера Саидунова. Безбородко всячески старался опорочить молодую красавицу и расстроить этот союз. Уранова была из простолюдинок, пользовалась у зрителей успехом и состояла в дружбе с Верой Филипповной.

Однажды вечером, уловив свободную минуту, она пришла навестить Веру Филипповну. Разговорились. Еле скрывая слезы, Уранова рассказала своей подруге и ее мужу о наглых приставаниях Безбородко и просила у Федота Ивановича совета, стоит ли ей пожаловаться царице на старого развратника.

— Может, государыня подействует на нахала? — спросила она.

— Возможно, — согласился с ней Федот. — Кого-кого, а Безбородко она за такое не похвалит. Он к царице весьма близок...

— Советуете пожаловаться?

— Советую.

— Как это сделать, Федот Иванович? Научите меня! Вы бываете во дворце, вы знаете порядки...

— Нужен удобный случай. Лучше всего, пожалуй, сделать это в театре, — в раздумье сказал Шубин. — Напишите жалобу и храните ее при себе. А как представится случай, упадите к ногам царицы и, вручая бумагу, скажите: „Ваше императорское величество, я обижена вашим приближенным и не могу уведомить вас в другом месте по причине великой власти того человека, на коего написана сия жалоба“.

Лиза Уранова, или Лизета, как называли ее в дворцовом театре, с помощью своего жениха составила жалобу на Безбородко. В жалобе говорилось о сводничестве со стороны двух директоров дворцового театра и прочих непотребных делах.

Случай вручить царице жалобу скоро представился. На сцене Эрмитажного театра шла опера „Федул с детьми“. Уранова пела превосходно. Сама Екатерина, понимавшая толк в театральном искусстве, восхитилась игрой Лизеты и бросила ей букет цветов. Момент был подходящий. Уранова подняла букет, прижала его к своей груди, потом упала перед царицей на колени и, произнеся продиктованное Шубинным обращение, подала царице грамоту.

На другой же день оба директора Эрмитажного театра были уволены „за содействие к сближению Безбородко с бывшей воспитанницей театрального училища Урановой“. О том, в каком тоне царица сделала выговор своему любимому царедворцу, история умалчивает. А Уранова на той же неделе стала Сандуновой.

Вскоре после этого эпизода, выступая на сцене, она уже с откровенной смелостью смотрела на Безбородко и при полном зале, обращаясь к нему, небрежно потряхивая кошельком, пела:

Перестаньте лститься ложно,
И думать так безбожно,
В любовь к себе склонить...
Тут нужно не богатство,
Но младость и приятство,
Еще что-то такое,
За что можно любить...

Шубины, присутствовавшие на этом спектакле, были в восторге от выступления певицы. Все зрители знали о похождениях Безбородко и с затаенным смехом наблюдали, как он делал вид, что его это не касается, и громко

смеялся, тряся отвисшим подбородком. Глаза его, как всегда, светились блудливым огоньком, влажные губы лоснились.

Вера Филипповна слегка толкнула локтем мужа и, кивнув в сторону Безбородко, тихонько заметила:

— Вот он весь тут, как на ладони. Кстати, он ведь тебе заказал бюст?

— Такого плута зажмуря глаза можно вылепить. Натура распахнута чересчур, — шепнул ей в ответ Шубин.

В тот вечер Лизета выступала в Петербурге последний раз. Она навсегда уезжала с мужем от греха подальше в Москву.

Неудачное ухаживание привело Безбородко в бешенство. Потом он заскучал, запьянствовал и даже распустил свой гарем. Лизета, которая была ему нужна как игрушка, ускользнула из рук. Не помогли ни его щедрость, ни уловки сводней. С этой поры он стал искать себе развлечений в петербургских притонах. Одевался запросто, брал на расходы по сто рублей в карман и, посвистывая, уходил туда, где нравы были еще распущеннее и разврат по цене доступней. Иногда перед утром его, мертвецки пьяного, приводили в чувство, поливая холодной водой, и отвозили во дворец вершить государственные дела...

Однажды он в закрытой карете подкатил к дому Шубина.

— Федота Ивановича нет, они в мастерской, — подобострастно кланяясь, доложил дворник. — Позвать или прикажете вас туда проводить?..

— Проводи, — буркнул гость.

В мастерской сановник и скульптор-академик вежливо раскланялись. Безбородко поглядел вокруг, спросил:

— Ну-с, а когда будет готов мой бюст?

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, в свое время поспеет, — отвечал Шубин.

— Да нельзя ли трошки поскорей, полтысячи карбованцев за поспешность прибавлю, — сказал Безбородко, который, будучи родом из Глухова, любил ввернуть в свою речь родные ему слова.

— Не в этом дело, ваше сиятельство. Мастерство скульптора не есть ремесло сапожника. Бюсты персон не делаются на одну колодку и в одни сутки... Прошу прощения, что вас провели сюда, — извинился Шубин и предложил пройти в дом.

Федот Иванович снял с себя запачканный глиной и гипсом фартук и начал мыть руки. Безбородко, вздрагивая, сказал, что он заехал на минутку, только справиться о своем бюсте, и отказался пойти в дом.

Шубин подал стул. Безбородко сел, развалился и закинув ногу на ногу.

— Мне бы, знаете... У меня есть хороший портрет, так с него и высекайте... — сказал он.

Двое подмастерьев прекратили работу и не сводили глаз с полупьяного обрюзгшего посетителя. Они изучали его лицо — не раз слышали они от своего учителя, что уметь вникать в натуру, подмечать все тонкости и свойства характера — одно из необходимых условий успеха художника.

— Простите, ваше сиятельство, но к портретам художников я недоверчив, — предупредительно заговорил Шубин. — Я работаю по собственному усмотрению: или леплю с натуры, или зарисовываю сначала натуру, или же, вполне запечатлев физиономию персоны и зная насквозь его душу, леплю, руководствуясь своим смыслом. Вас я очень хорошо знаю, но, простите, не могу же в таком виде изобразить, в каком вы сегодня изволили меня посетить. Вам нужно отдохнуть и телом и духом...

Шубин снова надел на себя фартук и, присев на уголок обширного верстака, украдкой взглянул на Безбородко. Тот лениво потянулся и зевнул. Затем скульптор продолжил начатый разговор.

— Вас я изображу в мраморе с тем выражением лица, какое я однажды уловил...

— Когда именно? — спросил Безбородко и чуть-чуть оживился.

— Я прекрасно запомнил вас в момент выступления актрисы Урановой в театре Эрмитажа. Помните?.. Мне кажется, вы тогда были довольны и счастливы, — слукавил скульптор и улыбнулся.

Пьяный Безбородко не понял насмешки, но затронутый упоминанием фамилии актрисы, не мог усидеть на месте. Он поднялся и, прощаясь с Шубиным, сказал:

— Вы мастер своего дела, и не мне учить вас. Сделайте так, чтобы в фигуре моей чувствовался и государственный муж и... человек!

Работа над бюстом Безбородко была быстро закончена. Каждый, кто близко знал сановника и видел бюст шубинского мастерства, говорил, что между оригиналом и замеча-

тельно обработанным куском мрамора разница лишь в том, что шубинский Безбородко не может подписывать бумаги и ходить в непристойные места.

За бюстом к Шубину любимец Екатерины послал нарочного. Шубин, завернув в скатерть мраморный бюст, поехал вместе с нарочным. Скульптору было интересно знать мнение о своей работе самого Александра Андреевича Безбородко. Как никак, Безбородко умел разбираться в искусствах.

Богатый дом Безбородко находился на Ново-Исаакиевской улице и славился частыми пирами. Шубин ни разу не бывал здесь на пышных пирах, но он много слышал о богатой картинной галлее Безбородко, и ему хотелось посмотреть ее.

Пока хозяин не вернулся из дворца, Шубин, сопровождаемый Иваном Андреевичем, братом Безбородко, смотрел салоны. В залах были собраны римские вазы из мрамора, изящнейший, изумительного мастерства китайский фарфор, ценнейшие французские гобелены, мебель, когда-то служившая украшением королевских дворцов. Здесь было свыше трехсот картин, принадлежавших последнему польскому королю и герцогу Орлеанскому. Бегло осмотрев картины и мебель, Шубин с большим увлечением стал осматривать бронзовые статуи работы знаменитого Гудона. Тут же стоял „Амур“ работы Фальконе.

— Как вам нравится наш домашний музей? — спросил Шубина Иван Андреевич.

— Превосходен! — отозвался Федот Иванович. — Вот я хожу, гляжу и думаю... Что я думаю?.. Богаты сановники у нашей царицы, если находят средства приобретать мировые произведения искусства... А второе я думаю — приятно было бы, если бы моя работа оказалась в соседстве с произведениями Фальконе и Гудона...

— Смотря как это покажется брату, — заметил Иван Андреевич.

Безбородко скоро вернулся. Он был навеселе.

— Ну, як она, готовенька моя статуя?

— Готова, ваше сиятельство, но пока прикрыта, под спудом.

— Як святые мощи!? — раскатисто засмеялся Безбородко и, подойдя к бюсту, сдернул с него скатерть и обомлел.

Любимец Екатерины, покоритель множества слабых женских сердец в мраморе отнюдь не был обворожителен. Шевелюра его казалась львиной и весь облик, пожалуй, напо-

минал престарелого беззубого льва. Но так он выглядел на первый взгляд да и то издали. Стоило присмотреться ближе, как бюст постепенно начинал оживать. Из под львиной шевелюры выступало одутловатое, пресыщенное развратом дряблое лицо с глазами хищного плута, толстыми губами, ожиревшим крупным подбородком и рыхлыми складками вокруг рта. Даже небрежно распахнутая сорочка на груди и поблескивающее матовым оттенком тело подчеркивали физическое опустошение и старческую слабость оригинала.

— Где же я тебя бачил, старый холостяк, любитель женок и горилки?.. — обратился Безбородко к бюсту. И, помолчав, при общей тишине присутствующих, сам себе ответил с прискорбием: „Неча пенять на глядильце, коли рожа крива“...

Пачку невзрачных ассигнаций, отпечатанных на тонком полотне старых дворцовых скатертей и салфеток, Безбородко, не считая, вручил Шубину и в знак благодарности крепко пожал ему руку.

Бюст вельможе не понравился. Он снова заказал несколько бюстов, но не Шубину, а французцу Рашету и другим более осторожным и услужливым ваятелям.

Бюст же работы Шубина был выставлен напоказ только спустя годы, в день смерти Безбородко, в той самой комнате и на том самом месте, где он умер.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Семья Шубина увеличивалась. Вера Филипповна родила трех сыновей: первого назвала Александром, второго — Павлом, а третьего — Федотом. Понадобилось больше прислуги, расходы увеличивались, и скульптору приходилось с еще большим усердием работать. О пышных балах и веселых гуляньях не могло теперь быть и речи. Семья и труд отнимали у него все время. Лишь изредка в летнюю пору брал он на руки маленького Федота и вместе с Верой Филипповной уходил в сады подышать свежим воздухом и отдохнуть от городского шума.

Давний приказ царицы Елизаветы „о пропуске в сады“ был в силе. Он гласил: „Не пускать в сады матросов, господских ливрейных лакеев и подлого народу, а также у кого волосы не убраны, платки на шее или кто в больших

сапогах и в сером кафтане". Федот Шубин, разумеется, не подходил под этот приказ, он, „баловень судьбы“, мог свободно разгуливать во всех дворцовых парках, но времени для этого не было. Чтобы не оторваться от живой, настоящей жизни, он, как и прежде, старался бывать почаще в тех местах, где проводили свое время простолюдины.

Работа над бюстами с высоких особ ему стала надоедать. Хотелось потрудиться над чем-либо более близким народу, чтобы народ видел труды его рук, видел себя в скульптурных изображениях искусного художника. Но кто бы мог заказать ему для широкого обозрения статуи и барельефы, в которых бы раскрывалась жизнь народа? Таких заказчиков не было.

Но подвернулся случай.

В эти годы на большой московской дороге, верстах в семи от Петербурга, у старой почтовой пристани, строился Чесменский дворец. Название „Чесменский“ дворцу было присвоено в честь победоносного сражения, происшедшего в Эгейском море в 1770 году. Тогда турецкий флот был загнан в Чесменскую бухту и ночью сожжен русскими брандерами. Алексей Орлов, командовавший русским флотом, за эту операцию был награжден титулом графа Чесменского и осыпан щедротами царицы.

Для тронного зала Чесменского дворца архитектор предусмотрел пятьдесят восемь барельефов великих князей, царей и императоров российских. Заказ на барельефы поступил Федоту Шубину.

— Моделями для барельефов могут служить вот эти медали, — сказал Шубину архитектор дворца Юрий Матвеевич Фельтен и выложил перед скульптором пригоршню медных кругляков с изображениями великих князей и царей российских.

— Могут быть, но не все, — уклонился Шубин, небрежно и быстро перебирая звонкие медали.

— Почему?

— Не совершенны здесь образы.

— Дело ваше, — соглашаясь с Шубиным, проговорил архитектор. — Но тогда, с каких же моделей вы будете высекать этих бородатых людей исторической древности?

— Я их вижу повседневно живыми, — пояснил Шубин. — А в русских сказаниях — старинах, разве не виден образ этих людей? Разве я не слышал у себя в Денисовке от стариков про ласкова князя Володимира:

Он по горенке по светлой похаживал,
А сапог о сапог поколачивал.
А русыма-то кудрями да розмахивал...

А разве в народе нет песен и былин про других персон, вот про того ли

Скопина князя Шуйского,
Правителя царства Московского,
Оберегателя мира крещеного...
Будто ясен сокол вылетывал,
Будто белый кречет выпархивал.
То выезжал воевода храбрый князь
Скопин Михайло Васильевич...

Когда дойдет черед высекать барельефы императоров и императриц — тогда другое дело. Личности их у многих в памяти сохранились. Образы же древнерусских князей и царей, зная их нравы и заслуги или пороки, — с пользой можно домыслить...

Фельтен с ним согласился. Шубин для выполнения этого заказа ходил в люди искать натурщиков — хитрых, себе на уме мужиков, годных обличем своим служить украшением стен Чесменского дворца. Искал он их на Невской набережной, где в то время в тяжелый гранит одевались берега Невы. Иногда по часу и больше со всех сторон высматривал Федот Иванович дюжего бородача и думал: „А ведь примыть, причесать да одеть в латы, накинуть сверху мантию, ну, чем он тогда не князь Симеон Гордый?“

Облюбовав подневольного человека, обремененного тяжким трудом, Шубин спрашивал его имя, фамилию, затем шел в контору строительства — и человека на несколько дней отпускали в его распоряжение.

Однажды, утомленный продолжительной работой над мраморными барельефами, Шубин вышел побродить по городу. Около Гостиного двора он заметил сапожника. Тот сидел на ящике и чинил обувь. Он был не стар и не молод. Русая борода, извиваясь, спускалась ему на грудь и прикрывала верхнюю часть сапожного фартука. Над светлыми быстрыми глазами свисали густые брови. Когда дело не клеилось, он хмурился и брови вплотную сходились на переносице. Длинные с проседью волосы почти закрывали круглое клеймо на лбу. На правой щеке у сапожника Шубин заметил второе клеймо — букву „в“, на левой — „р“, а все вместе означало — „вор“. Около него на каменной глыбе сидел матрос. Сапожник прибывал подметку к его башмаку.

— Нельзя ли поскорей, я на корабль тороплюсь, к перекличке успеть надобно.

— Успеешь, служивый, успеешь, — отвечал сапожник. — А чтоб не тошно было ждать, я тебе сейчас за делом песенку спою. А ты слушай, разумеи и скажи потом, про кого эта песня.

Шубин подошел ближе. Он заинтересовался внешностью уличного чеботаря и, глядя на его выразительную физиономию, подумал: „Какая чудная натура, вот кого надо лепить!“

Сапожник затынул песню, обнаружив приятный голос. Вокруг певца начали собираться прохожие. Через минуту он и матрос были окружены людской стеной. Шубина отстенили. Через плечи и головы собравшихся он тянулся, чтобы видеть мастерового. А тот, поколачивая молотком по подошве, пел:

Приехал барин к кузнецу,
Силач он был не малый,
Любил он силую своей
Похвастаться бывало.

„А ну-ка, братец, под коня
Выкуй мне подковы,
Железо крепкое поставь,
За труд тебе — целковый“.

Кузнец на барина взглянул,
Барин тароватый;
„Давай-ка, барин, услугу,
Не по работе плата“.

Кипит работа, и одна
Подкова уж готова,
Рукой подкову барин сжал —
Треснула подкова.

„Мне эта будет не годна,
Куй, кузнец, другую“.—
„Ну, что ж, давай еще скую,
Скую тебе стальную“.

И эту барин в руки взял,
Напружинил жилы,
Но сталь упруга и крепка,
Сломать ее — нет силы.

„Вот эта будет хороша,
Куй по этой пробе.“

Меня охотники уж ждут
Давно в лесной труппе.
Теперь я смело на коне
Отправляюсь на охоту.

А на-ко, братец, получи
Целковый за работу“...

„Ах, барин, рубль ваш недобер
Хотя он и из новых“.

Между пальцами, как стекло,
Сломал кузнец целковый.
Тут подал барин кузнецу
Вдобавок два целковых.
„Вот эти будут хороши,
Хотя и не из новых“.
„Ах, барин, хрупок ваш металл,
Скажу я вам по чести“...
Кузнец и эти два рубля
Сломал, сложивши вместе...

Дальше в песне говорилось о том, что барину ничего не осталось делать, как покраснеть за свое бахвальство, восхититься силой кузнеца, подать ему червонец и сказать:

„На вот, пожалуйста, возьми
Деньгу другого сорта,
В жизни первый раз встречаю
Я такого чорта!“

Хотя имя барина ни разу не было названо, Шубин представил себе по этой песне образ сильного и доступного Петра Первого. Кстати, он тут же вспомнил рассказы денисовских старожилов о том, как Петр приезжал в Холмогоры, как был в гостях на Вавчуге у корабельного строителя Баженина и, выпивши, хвастаясь своей силой, хотел остановить колесо водяной пильной мельницы. Испуганный Баженин успел предупредить несчастье. Он послал людей спустить у мельницы воду. И когда Петр подошел к колесу, оно еле-еле вращалось. И слово царское было сдержано, и от опасности Петр избавился. Протрезвясь, Петр поблагодарил Баженина...

Между тем, пока Шубин вспоминал это, песня была допета до конца и подметка к башмаку прибита.

— Сколько за труд? — спросил матрос.

— Надо бы три копейки, но если отгадал, про кого я пел, ни гроша не возьму.

— Еще бы! — обрадовался матрос. — Не в песнях, так в сказках я слышал такое же про Петра.

— Молодец! — похвалил сапожник, сбрасывая себе под ноги мусор с фартука. — Не надо мне твоих грошей, носи счастливо, не отпорется. Да приверни в кабак, выпей за мое здоровье... Ну?! У кого работа есть! Чего встали? Я песнями не торгую, мне работенка нужна...

Толпа стала нехотя расходиться. Шубин осмотрел свои башмаки и подошел к сапожнику. Ему хотелось с ним познакомиться ближе и сделать с него барельеф.

— Мне бы вот чуточку каблук поправить,— обратился он к сапожнику.

— Добро пожаловать, разувайтесь, барин.

— Барин-то я барин, только мозоли с рук у меня не сходят,— ответил Федот.

— Барин с мозолями!— удивился сапожник, глядя на Шубина и, встретив добродушный взгляд, усмехаясь, добавил:— Это не часто бывает. А вы по какой части?

— Да вроде бы живописной,— охотно ответил Шубин, — я скульптор...

— Ох, и не люблю я живописания. Худо, барин, когда по живым-то людям пишут. Глянь, как меня исписали,— сапожник показал Шубину клеймённые щеки и лоб.

— Я это уже приметил. Где же тебя так разукрасили? И за что?— спросил Федот, подавая сапожнику башмак и присаживаясь на то место, где сидел матрос.

— В остроге, понятно, барин. А за что, сам посуди: у себя там, в Вологодчине, на Кубенском озере, рыбку половил, а озеро-то монастырское, так меня за это и отметили...

— Ну, что ж, и в остроге, наверно, хорошие люди были?

— Да, барин, были. Получше, нежели на воле. Такие головастые — на все руки...

Сапожник сорвал клещами с каблука изношенную, стоптанную набойку, посмотрел, на зуб взял и отложил в сторону:

— Где, барин, такой крепкий товар брали?

— У француза покупал.

— То-то я вижу товар хороший, а работенка неважная, так себе — одна видимость...

Пока сапожник прибывал к башмаку набойку, Федот спросил его обо всем: об остроге, о заработке, о семье и о том, где он такую песню слышал.

— В остроге, барин, всего слушаешься, всему учишься. Посидел бы там с годик впроголодь, покормил бы вошек досыта да послушал, что поет народ про Степана Разина, удалого молодца, да про Пугача Емельку! Тех песен здесь не споешь, а споешь — в клетку сядешь. Их только в остроге и услышишь.

— Бывалый ты человек, я смотрю, а не придешь ли ко мне на дом поработать? — обратился к нему Шубин.

— Невыгодно,— ответил сапожник, не глядя на Шубина.— Здесь-то, на улице, я больше выколочу.

— А я тебе вдвойне заплачу.



Павел I.

Мраморный бюст работы Ф. Шубина.
Государственный Русский музей (Ленинград).



— Что за работа у вас? Может, французская женская обутка для барыни, то я нипочем не возьмусь. Канитель одна.

Шубин пояснил тогда сапожнику, что он нужен ему, как натурщик для мраморного портрета князя Мстислава Удалого. Сапожник был не из глупых, быстро сообразил, о чем идет речь, и согласился.

— А может, барин, из меня и Александр Невский получится? Заодно уж давай. Смелый мастер и из псаля может сделать царя...

— Александр Невский из тебя не получится, — усмехнулся Шубин. — Этот князь к лику святых причислен, а в твоем лике никакой святости. Разве Святополка Окаянного можно с тебя еще вылепить? — прикинул в уме скульптор.

— А я могу, барин, рожу скорчить и под Святополка. Платите хорошо да кормите досыта... Ну, вот и башмак вам готов... С барина только двугривенный...

Сапожник весело тряхнул головой и буква „О“ на его широком лбу обозначилась явственно, как кокарда...

В другой раз, для барельефа Ивана Грозного, Шубин облюбовал одного старца на паперти Самсониевской церкви. Там было много нищих-попрошаек, но из всех выделялся один высокий, сухощавый, с орлиным взором и слегка приплюснутым длинным носом. Волосы у него были по самые плечи, не причесанные, подвязанные узким ремешком. Говорил он звучным голосом, протяжно.

Федот положил ему на широкую шершавую ладонь медный увесистый пятак с вензелем Екатерины. Подачка показалась приличной, старец, воздев очи в потолок, стал размашисто креститься и благодарить... Шубин отошел в сторону и в профиль посмотрел на старца.

„Подойдет, — решил он, — как раз Иван Четвертый... Однако, видать, подлец и дармоед. Такого, пожалуй, не скоро уговоришь позировать. Божьим именем не плохо кормится и, судя по носу, до винного зелья охоч“...

За бутылку водки и рублевую ассигнацию, а больше всего из любопытства, старец пошел за Шубиным на два дня в натурщики к нему в мастерскую. Старец оказался разговорчивым попом-расстригой.

— За что же тебя, батюшка, сана лишили, за что же тебя по миру пустили? — любопыествуя, спрашивал Шубин случайного натурщика, стараясь быстрее уловить характерное выражение его лица.

— Да как сказать вам, добрый человек? Попишка я был доморощенный, однако часослов и псалтырь смолоду знал назубок. И вот прихожане отправили меня в Питер, в Невскую лавру, церковные науки превзойти. Заверительную грамоту в напутствие дали, дескать, я и не пьяница, и не прелюбодей, не клеветник, не убийца, в воровстве-мотовстве не замешан и пастырское дело без учения постиг. Все справедливо. Такой я и был у себя в приходе за Олонцом. А как Питера коснулся, нечистый будто вожду мне под хвост сунул. И бражничать стал, и в прочих грехах увяз, а у одной вдовицы питерской шубу на лисьем меху взял и в кабак отнес. С шубы началось, а кончилось батогами на Конной площади... Может, я, грешный, и не подхожу для царственного лика грозного царя?.. Может, другого поищите и обратите?

— Нет, нет, — возразил Шубин, — грехи твои тут ни при чем, моего дела они не касаются. Сиди спокойно, чувствуй достойно, воображай себя грозным царем Иваном Васильевичем. Потом, когда понадобится, я, пожалуй, из тебя пророка Моисея для Троицкого собора сделаю. Есть такой заказец... Ну, и как же потом жизнь твоя пошла, каким путем да каковы батоги на Конной площади?

— Ох, крепки! При всем-то честном народе да на позорной колеснице прикатили меня, раба божия, поутру. Привязали руки-ноги ко скамейке и давай лупцовать. Как хлестнут — так и искры из глаз. На что я крепок — не помню как пятьдесят ударов выдержал. Три ребрышка переломили. Вот вам, господин хороший, и Моисей и Иван Грозный... А не ходить бы мне в Питер, не было бы соблазна житейского, была бы у меня и попадейка и детоньки малые, как у вас. Эх, жизнь наша тяжкая... А по-моему, для моисеева лика мне надобно бороды вершка два-три прибавить и внизу этак вьюном свернуть...

— Совершенно верно. И скрижали с заповедями понадобятся. Тогда я тебя сниму в полной натуре и в два человеческих роста...

— Ого! Вы так меня с неделю промурыжите. Прибавить придется! За эту цифру я не работник...

— Прибавим, батюшка, прибавим. Мы за деньгой не стоим и винцом угостим, — успокоил Шубин старца...

Так подбирал и так пользовался скульптор натурой. Творческие наклонности и замыслы его требовали изображения жизненной правды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

„Дивен рукодел в работе познается“ — гласит древняя русская пословица. Едва ли кто из русских скульпторов был так трудолюбив и разнообразен в своем творчестве, как Федот Иванович Шубин.

Его барельефы, бюсты и статуи находились во всех столичных дворцах и во многих имениях крупных вельмож. Но труд скульптора расценивался дешево. Заработка едва-едва хватало на содержание семьи. Знатные персоны не особенно щедро рассчитывались. Даже знаменитый Фальконе, много лет работавший в Петербурге над памятником Петру Великому, и тот из-за неаккуратной платы за труд был в постоянных ссорах с екатерининскими вельможами, ведавшими постановкой памятника, и уехал не дождавшись торжественного его открытия. Между тем день открытия памятника был одним из самых примечательных в истории города тех лет.

Ранним дождливым августовским утром Федот Шубин вместе с другими академиками пришел в сенат, где уже толпились сановники, придворные и военные чины в ожидании прибытия царицы. На площади перед сенатом было сведено пятнадцать тысяч войска. За войсками, на всех улицах и переулках, примыкавших к площади, собрались десятки тысяч горожан.

Публика ждала царицу. А царица ждала, когда прекратится дождь.

Наконец, к четырем часам дня над Петербургом проглянуло солнце. Пронеслись последние лохмотья туч и рассеялись над Финским заливом. В это время по Неве приближалась к сенату разукрашенная, крытая серебристым шелком шлюпка царицы. Скоро Екатерина в сопровождении свиты показалась на балконе сената. Грянули пушки. Пала вокруг памятника высокая досчатая ограда. Войска двинулись церемониальным маршем. За войсками пошел народ. Взорам всех представилось изумительное творение Фальконе...

В то время когда Екатерина в лорнет рассматривала с балкона монумент и публика шла мимо памятника, оглашая криками Петербург, на соседнем балконе того же сената препирались в разговоре два члена Академии художеств — Шубин и Гордеев.

Оба ваятеля были приятно возбуждены. На лицах того и другого сияла искренняя радость.

— Я рад за успех нашего старшего собрата Фальконе, — заговорил первым Гордеев, считавшийся в ту пору „столпом и утверждением художественного цеха“ при Академии.

— Да, этой работой талантливый современник наш прославится на века, — согласился Шубин. — Я рад за него и рад за нашу столицу. Народ всегда будет благодарить тех, кто создал сей прекрасный монумент памяти великого основателя города и преобразователя России.

— В этом деле и моя копейка не щербата. Я тоже приложил ум и сердце... — не без самодовольства сказал Гордеев.

— Разве? — притворно удивился Шубин. — Вот чего не знал, так не знал! Ведомо мне, что коня и фигуру Петра создал Фальконе, голову к фигуре Петра выполнила Мария Колло, родственница и ученица скульптора. И знаю, что если бы не героическая самоотверженность русского литейщика Хайлова, то памятник погиб бы во время отливки, когда расплавленная медь хлынула из разбившейся формы и разлилась вокруг. Фальконе, девять лет работавший над памятником, струсил, схватился за голову и первый, не помня себя, выбежал из литейной; за ним бросились все находившиеся там, остался один пушечных дел мастер, русский мужик Хайлов. Думали, что он, охваченный расплавленным металлом, погиб. А он, не щадя жизни своей, бросился исправлять форму, после чего совками и лопатами стал сгребать расплавленную медь и сливать, где ей положено быть. Страшные ожоги получил человек, а памятник Петру спас и честь Фальконе сохранил! Вот чья копейка не щербата в этом славном деле! А Хайлов, поди-ка, беденький, где-нибудь затертый толпой стоит на Садовой и ждет, когда подойдет его черед взглянуть на бронзового Петра и на славное торжество...

— Да, к прискорбью, мы часто не замечаем таких людей. Хайлов, разумеется, достойный человек, — согласился Гордеев, отходя от Шубина. Но Федот, настроенный продолжать разговор со своим недружелюбным коллегой по профессии, шагнул следом за ним.

— Если, скажем, коснуться постамента, — продолжал Шубин, — нигде в мире, ни под одним монументом, нет такой величины естественного камня. В нем более четырех миллионов фунтов веса — сто тысяч пудов! Легко сказать... А притащить такой камушек за двенадцать верст к этому месту — как, по-вашему?..

Гордеев покачал головой и ответил, что с помощью немецкой хитрости и не такие вещи могут делаться.

— Сущие пустяки! — резко возразил ему Федот и стал горячо доказывать: — Немецкая хитрость тут ни при чем. Года четыре назад в Париже выпущена в свет книжка. Читал я ее. Там хвалят за передвижение этой каменной громады некоего Карбури, он же по другой фамилии Цефалони. Только я скажу: мошенник этот содрал большие деньги за чужой труд. Однако ни слова в той книжке не сказано, что гранит сей нашел лахтинский мужичок Семенка Вешняков, а способ передвижения камня придумал наш кузнец. Даже имени его никто не знает! Вот как иногда делается у нас на Руси! Вот и вы, понюхав Европы, до хруста в спине сгибаетесь то перед античностью в скульптуре, то перед неметчиной в будничных делах. А ведь нашего народа скромнее, умнее и храбрее на свете не сыщешь!.. И форма и содержание художеств у нас должны быть и будут со своим русским нутром и обликом!..

Шубин, выпустив заряд едких слов в Гордеева, двинулся было прочь от него, но, вспомнив, обернулся к нему и спросил:

— Так в чем же тут ваша-то не щербата копейка? Уж не вы ли, Гордеев, увенчали лавровым венком главу Петра?

— Нет, творение рук моих не венки, а змий, коего подпирает конь копытами и на коего одновременно часть фигуры опирается и поддерживается им... — не без запальчивости сообщил Гордеев.

— Вот оно что! — протяжно проговорил Шубин. — Думаю, что сия натура вполне достойна вашего ума и сердца...

Как всегда, они и теперь разошлись почти поссорившись и заняли места на балконе сената подалее один от другого...

Шубин хотя и считался, как „дворцовый“ скульптор, независимый от Академии художеств, баловнем судьбы, но духом своим он был близок народу. Его всегда раздражали и выводили из терпения царившие в высших кругах ложь и клевета, высокомерие и зазнайство, жадность и расточительность, лезть и низкопоклонство перед заграницей. Больше всего ему казалось обидной несправедливость вельмож и государственных правителей ко всему новому, что вносилось русской мыслью на пользу общего дела. Нередко он вспоминал затравленного под конец жизни Ломоносова. Его не утешала и судьба известного нижегородца — мудрого изо-

бретателя Кулибина, который смог при Екатерине продвинуть в жизнь только „кулибинские“ фонари, столь необходимые во время торжеств для иллюминации. Другие ценнейшие изобретения его были отвергнуты и забыты. Так было с русскими самородками, не говоря уже о том, что свободная мысль таких передовых людей, как Радищев, душилась нещадно...

Несмотря на близость к высшим кругам, Федот Шубин жил довольно скромно и часто находился в нужде. Но и нужда его так не угнетала, как угнетала скрытая и явная вражда со стороны завистников и недоброжелателей, занимавших видные должности при Академии художеств.

Известный в то время в Петербурге архитектор Ринальди, зная, что многие вельможи стали остерегаться делать Шубину заказы и что скульптор часто нуждается в средствах, решил уговорить его работать с ним вместе. С этой целью Ринальди пришел к Шубину на квартиру и предложил ему выполнить шестнадцать барельефов для украшения Исакиевской церкви.

— Федот Иванович, я ничем вас не буду стеснять, — заявил Ринальди, — ни ценой за труд, ни указаниями. Работайте, как вы говорите, по своей собственной выдумке...

— Спасибо за доверие, господин Ринальди, но я боюсь не оправдать ваши надежды. — И, вскинув высоко голову, Шубин пояснил: — Вы, талантливый архитектор, предлагаете мне такой заказ, цените мои способности. Да, я могу кое-что сделать для церкви, но признаться, я не люблю принимать заказы на религиозные темы. Разве благородного арабского коня запрягают возить дрова! Нет, нет, я не хотел бы связываться... — Не желая быть слишком резким, Шубин не договорил до конца свою мысль.

— А я не хотел вас обидеть, Федот Иванович, и пришел к вам с добрыми намерениями. Ведь в церкви ваши творения будут видны тысячам обыкновенных людей, а не одним богатым сановникам.

Ринальди попал в точку. Шубин подумал и снова стал отказываться:

— Спасибо, на хлеб себе и семейству как-нибудь добуду. — Если же я отжил как скульптор для знатных персон, то пока мои руки способны держать резец, я все-таки буду трудиться... Не удивляйтесь, господин Ринальди, если в „Петербургских ведомостях“ вы не раз встретите мой призыв такого содержания: „На Васильевском малом острове,

между Большим и Средним проспектом, на 5-й линии, в доме номер 176 продается (такое-то!) изделие академика Федота Шубина по весьма сходной цене“. Нужда чего не делает?! Говорят — нужда и камень долбит и кошку с собакой роднит. Я предпочту умереть с „благородной упряжкой“, как говаривал Ломоносов, но кривить душой не хочу, дабы себя не возненавидеть...

— А разве я уговариваю вас душой кривить?! — удивился настойчивый Ринальди.

Кое-как ему удалось уговорить скульптора принять заказ с собственными шубинскими сюжетами на тему жертвоприношения. Шубин погрузился в работу. Работал он долго и упорно. Наконец барельефы, изображающие „жертвоприношение“, были изготовлены и привезены из мастерской Шубина напоказ в контору строительства. Иностранцы восхищались трудами русского скульптора. Сам Ринальди, так страстно мечтавший соединить искусство архитектора с изяществом шубинских творений, увидя его работу, с восхищением сказал:

— Такое художество Ватикан, и Лувр, и Британский музей с великим удовольствием иметь не отказались бы...

Но заказы для Исаакиевской церкви должны были быть одобрены представителями высшего духовенства, которые в клобуках, в шелке и бархате явились для просмотра шубинских творений.

Были и представители от Академии художеств, в том числе и Гордеев — всегда весьма пристрастный ценитель шубинского творчества. Все они бегло просмотрели несколько чьих-то икон с изображением угодников и перешли к барельефам.

— Чья сия работа и что она изображает? — полюбопытствовал петербургский митрополит и посмотрел вопрошающе на Ринальди.

— Это работы господина надворного советника и академика Федота Ивановича Шубина, — ответил Ринальди и показал на стоявшего рядом с ним скульптора.

— Так. А что изображено здесь? — повторил свой вопрос митрополит.

— Жертвоприношение, — односложно ответил хмурый Шубин, не вдаваясь в пояснения.

— Хм, жертвоприношение? — промычал себе под нос митрополит и вместе со свитой стал внимательно рассматривать барельефы.

Гордеев, распахнув лисью шубу, увивался вокруг митрополита и на что-то тому намекал.

Когда работа была осмотрена, митрополит вздохнул и, обратясь к членам комиссии, сказал:

— Жертвоприношение в барельефах Шубина не заслуживает похвалы и недостойно быть помещено в храме святого Исаакия...

Гордеев украдкой злорадно покосился на Шубина. Странно, тот был спокоен и невозмутим. „Может глуховат стал Федот, не расслышал владыку“ — подумал Гордеев. Ринальди побаргровел и, поперхнувшись, спросил:

— Ваше высокопреосвященство, почему?.. Поясните!

— Жалею, что вы, господин архитектор, не видите сами причин, заставляющих отвергнуть барельефы, — как бы удивляясь, проговорил митрополит и при напряжённом молчании присутствующих продолжал: — Изображения Шубина не убеждают смотрящего на них в любви к богу. Вы взгляните глубокомысленно на лица этих людей, что приводят животных к жертвенникам, дабы отдать их в жертву всевышнему. Разве написано на лицах радение бескорыстие служить богу? Не вижу радения! Паче того, лица высечены на мраморе с видом сожаления, якобы люди не жертву богу приносят, а у них насильно отбирают их последнюю домашнюю животину...

Дальше митрополит не нашел слов для пояснения и сказал лишь, что он не может дать своего позволения освятить барельефы, ибо то искусство, которое не служит богу и государю, служит лукавому.

Шубин горестно усмехнулся.

Ринальди попытался доказать митрополиту и его свите, что барельефы — это вовсе не иконы, не для моления они и назначались, а для декоративного украшения стен церкви. Но решение митрополита было непреклонно.

— Федот Иванович, скажите вы слово в оправдание своих трудов! — взмолился Ринальди к скульптору.

— Ну, что я скажу? — развел руками Шубин. — Барельефы... они сами говорят за себя. Правда, она, что шило в мешке, ее не утаишь...

А когда духовные приемщики удалились, Шубин стал успокаивать расстроенного архитектора:

— Напрасно, господин Ринальди, волнуетесь за мои труды. Я же вам говорил. Не вышло у меня по их вкусу... Да и как угодить? Ведь в жизни мне не приходилось видеть

жертвоприношений, зато приходилось наблюдать в деревне, как у тягловых государевых крестьян за оброк отбирали последнюю скотину... Вот я и вспомнил. Митрополит по-своему, пожалуй, не без ума. Что же делать? Не годится молиться — годится горшки закрывать. Я уже стал привычен к неприятностям, а вот вам ущерб принес и огорчение. Этого я не хотел бы...

Но Ринальди нашел выход из положения:

— Не будем огорчаться, Федот Иванович, — сказал он. — Ваш труд не пропадет. Барельефы поместим в лучшем зале мраморного дворца, что ныне строим для Орлова...

Он так и сделал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Нередко Шубина навещал художник Иван Петрович Аргунов, крепостной графа Шереметева. Он писал портреты скульптора и Веры Филипповны. Шубин и Аргунов подолгу засиживались в длинные зимние вечера и беседовали весьма откровенно. Обычно начинал словоохотливый и не менее, чем Шубин, дерзкий на язык Аргунов:

— Мы вот, Федот Иванович, пыхтим, трудимся, а за труды нам достаются лишь, как бедному Лазарю, — крохи, падающие с господского стола. А вот граф Потемкин на пикник триста тысяч истратил!

— Ну, так что ж, чего тут удивительного! — раздраженно воскликнул Шубин. — На то он и Потемкин. Пикник — мелочь. А на поездку в Крым сколько у них ушло? Миллионы! Платье для Потемкина царица заказала сшить, бриллиантами велела украсить, и обошлось платьице в двести тысяч. А дворец для Потемкина? А Орлову, Безбородко и другим разве мало достается? — И качая поникшей головой, Федот сказал: — Бедная матушка Россия, каких матерых кровососов она держит на своей шее!

— Именно! — поддержал Аргунов. — А главное — мы можем с тобой вздохнуть и скорбеть об участи России сколько угодно, но облегчить ее участь не в силах наших. — И вдруг неожиданно и затаенно притихшим голосом спросил: — Слышал ли ты о книге Радищева „Путешествие из Петербурга в Москву“?

— Слышал, но точно сути не дознался, — ответил другу Федот. — Кажется, запрещено о ней и говорить даже.

— Запрещено, это верно. Книга Радищева, напечатанная им самим, вызвала возмущение царицы. Радищеву — крепость и Сибирь, а книга его хоть в списках, а дойдет до потомства! Я читал ее и люто возненавидел причины, породившие зло и несправедливость. А как он хорошо и горячо пишет о Ломоносове!

— Иван Петрович, ради любопытства ухитрись, сними мне копию того, что сказано у Радищева о Ломоносове. Как молитву заучу, в памяти сохраню!

— Зная тебя, обещаю!

— Ни тебя, ни себя не подведу, — заверил Шубин. — Разве только дурак может намеренно лишиться себя верного друга...

Шубин и Аргунов были, действительно, друзьями. Их сближало искусство, мужицкое прошлое обоих и стокровенная ненависть к вышестоящим сановным особам. Шубин всегда принимал Аргунова с распростертыми объятиями и часто говорил:

— Три вещи делают, Иван Петрович, удовольствие моим глазам и сердцу: цветистое поле, журчащий ручей и твое присутствие.

Оба они жили небогато. Оба чувствовали себя на положении обязанных работать по указу и по прихоти царицы и ее приближенных.

Аргунов полюбил Шубина за его талант, за справедливость и отсутствие раболепия перед вышестоящими. Шубин не лукавил, не скривил душой даже тогда, когда делал для Потемкина статую самой Екатерины...

Потемкин получил в подарок от царицы дворец. Здание это, построенное архитектором Старовым, отличалось от Зимнего, Царскосельского и других дворцов строгой и ясной простотой. Новый, спокойный классический стиль в архитектуре шел на смену пышному барокко. В центре главного зала дворца было предусмотрено колонное обрамление для статуи царицы. Заказ на статую поступил Шубину.

И Шубин взялся.

Он долго размышлял над композицией. Ему хотелось изобразить царицу как-то по-новому и более правдиво, нежели то делали другие художники. Пришлось критически оглянуться на труды Левицкого, изобразившего Екатерину напыщенной законодательницей, просмотреть работы художников-иностранцев: Торелли, Каравакка, Лампи и других. Шубин убедился, что это все не то, чего он должен добиться.

В ту пору в народе слухи о распутстве стареющей императрицы сменились едкими суждениями о её безграничной расточительности.

Шубину из достоверных источников рассказал тот же Иван Аргунов:

— Царица совсем с ума сходит — чем старше, тем глупее. Заказала сделать во Франции художественный сервиз для графа Орлова из чистого серебра. В том сервизе будет две тысячи пятьсот предметов, а цена ему неимоверная. Обязалась уплачивать за него в рассрочку тринадцать лет. Положим, она не проживет столько, и придется ее курносому наследнику доплачивать.

— России придется доплачивать, Иван Петрович, России! Бросают деньги, как щепки, не на дело, не на ум, а на чванство, на спесь. Что только творится! — Шубин развел руками и вдруг ударил себя ладонью по лбу.

— Эврика! Иван Петрович, эврика!.. Я изобразю ее так: из рога изобилия — деньги, ордена — все сыплется ей под ноги. Скипетр должен быть опущен безвольно книзу, как кнут над заезженной лошастью, а герб, корона, весы правосудия, свод законов — спрячу под ноги позади ее величества, там этим царственным атрибутам честь и место. По сути говоря, все, все это брошено под ноги и растоптано.

— А, ну-ка, набросай карандашом, как ты это представляешь, — предложил Аргунов, подсовывая Федоту лист бумаги.

Он быстро штрихами изобразил воображаемую статую Екатерины и был весьма доволен осенившей его идеей.

— Остроумно, — заметил Аргунов, рассмотрев набросок, и добавил, что опущенный скипетр в руках Екатерины напоминает ему какой-то полузабытый эскиз Фальконе.

— Возможно, — ответил Шубин. — Ну и пусть, не Гордеева напоминает — и то хорошо.

— Поймут замысел, не одобряют, не пройдет, — дружески начал было отговаривать его Аргунов. — Кто знает... напрасно может столько труда пропасть... А, впрочем, делай, если композиция пройдет утверждение на комиссии.

Комиссия одобрила и утвердила.

Шубину впервые пришлось работать над такой крупной и ответственной статуей. Громадную глыбу итальянского мрамора привезли на тройке дюжих битюгов к нему в мастерскую. Скульптор полагал, что труд его будет оценен по заслугам и, поработав, он сумеет обеспечить семью. Он

жестоко ошибся. Ни Потемкин, ни Екатерина не вознаградили его за прекрасно выполненную им статую, к труду художника они отнеслись, как к труду подневольного раба.

Статуя была сделана в полном соответствии с первоначальным замыслом скульптора. Иван Петрович Аргунов радовался успеху своего друга и находил, что только благодаря исключительному мастерству скульптору удалось в статуе Екатерины ловко скрыть вольность своего замысла. Статую из мастерской Шубина отвезли во дворец...

Уже был один случай, когда расточительный Потемкин готов был кому угодно продать дворец — подарок царицы. Но торговать подарками, даже в нужде — последнее дело. Выручила государыня. Она купила дворец за четыреста шестьдесят тысяч рублей, и когда князь отличился присоединением к России Крыма, Екатерина вторично подарила ему дворец. Хозяин и вновь подаренный ему дворец стали называться Таврическими...

В 1791 году, в конце апреля, Потемкин устроил большой праздник по поводу взятия Суворовым неприступной крепости Измаил. Три тысячи гостей веселились в залах дворца, триста музыкантов исполняли музыку на стихи, написанные Державиным: „Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс!“

Танцами распоряжались внучата Екатерины Александр и Константин. Во время праздника во дворце горело сто сорок тысяч лампад и двадцать тысяч восковых свечей. На праздничные наряды, на украшение дворца и зимнего сада, на изысканное угощение трех тысяч избранных было брошено столько денег, что и десятой части хватило бы содержать всю жизнь всех увечных воинов, накопившихся за годы войн при Екатерине и ставших нищими.

Это был самый пышный бал из всех, какие только были в то время.

Шубин, оставив жену дома с детьми, приехал на вечер и, встретясь здесь с Аргуновым, вышел с ним из шумных салонов в зимний сад. Здесь было тихо и чудесно. Весна только началась, а в искусственном саду, на зеленом дерновом скате цвели душистые жасмины, розы и помаранцы. Меж кустами цветов были незаметно расставлены распространяющие аромат курильницы. Шубин с Аргуновым прошли в изящный храм посреди сада. Там, на фоне сверкающей золотом драпировки, в изобилии светлоголубого освещения стояла шубинская статуя. Десятки знатных персон стояли

в отдалении, с умилением разглядывая образ царицы. Еще накануне торжества Екатерина интересовалась мнением других скульпторов и художников об этой работе Федота Шубина. Статую хвалили все, за исключением Гордеева, который сказал:

— Матушка-государыня слишком выглядит по-земному, а надо бы видеть ее, как богиню, стоящую в золотой кумирне.

Больше он ничего не приметил.

Шубин с Аргуновым, впервые увидев статую в необычайно пышной обстановке, остановились поодаль от всех, как вкопанные, и долго молчали. Наконец, заметив перед мраморной фигурой царицы жертвенник и надпись на нем: „Матери отечества и моей благодетельнице“, — Аргунов не без иронии спросил своего друга:

— Федот Иванович, что означают сии слова?

— Спроси Потемкина, — хмуро ответил Шубин, — это его слова. Если бы в моей силе и власти было, я обозначил бы так: „Мачехе отечества нашего и моей мучительнице“. Пойдем отсюда...

В этот час, двенадцатый час ночи, „мачеха отечества“ за столом, сервированным золотой посудой, сидела в кругу своих приближенных и лениво жевала гусиные лапки и петушиные гребешки, приготовленные в сметане с уксусом изобретательным французским поваром. Подавал тарелки царице сам Потемкин. В том же зале Шубин и Аргунов за одним из многочисленных столов полагались сидеть. (В присутствии государыни не каждому полагалось сидеть.) В два часа ночи царица покинула Таврический. Ее провожала многочисленная, расцвеченная золотом и бриллиантами свита русских сановников и иностранных послов. С высоты антресолей наблюдали за ее пышным выходом и оба художника. Хор певчих, провожая царицу, под звуки музыки пел на итальянском языке:

..Стой и не лети ты, время,
И благ наших не лишай нас!
Жизнь наша — путь печалей;
Пусть в ней цветут цветы...

Но время не внимало даже итальянским песням. Оно немолимо шло вперед. Потемкин дал последний бал. Вскоре он умер в далекой степи, на пути в Николаев. На смену ему и на утеху увядающей Екатерине явился новый могущественный фаворит — князь Платон Зубов...

... Ни Екатерина, ни Потемкин, ни дворцовая канцелярия не сочли за благо заплатить за продолжительные труды Шубину. Он истратил последние свои сбережения и, не имея заработка, оказался в безвыходном положении. Гонимый нуждою, Федот Иванович обращался с просьбами и „слезницами“ на имя высокопоставленных особ. Он писал президенту Академии Бецкому:

„...И если бы по примеру других художников, я состоял на каком-либо окладном жаловании, тогда бы не осмелился сим утрудять, но питаюсь уже лет двадцать одними трудами моего художества, от коего успел стяжать один дом деревянный, да и тот уже ветх, в минувшие четыре года на содержание себя и людей для делания большой мраморной статуи ее императорского величества, на которую истошил и последний свой капитал, в 3000 руб. состоящий, так что воистину не имею чем и содержаться при понешней дороговизне, будучи без жалования. Сего ради всеижайше прошу ваше высокопревосходительство великодушно оказать милость причислить меня в Академию художеств, снабдя должностью, квартирою и жалованием...“

Вера Филипповна родила уже шестого. Приглашенный в крестные отцы Аргунов шутил, стараясь развеселить грустную роженицу:

— Молодец вы, Вера Филипповна, право молодец! Пока Федот Иванович мастерил Екатерину, вы ему второго ребенка подарили!..

Вера Филипповна болезненно и скупно усмехнулась ему в ответ:

— По нашим достаткам не полдюжины, а двоих бы хватило.

— Вот всегда так бывает, Иван Петрович, — невесело вступил в их разговор Шубин. — Когда трудишься, думаешь о щедротах и радостях, а сделал дело, глядишь, оказавшись в тяготах и гадостях. Большая семья при бедности тягость, а Гордеев на каждом шагу готов поднести гадость. Ведь его ничто так не тревожит, как ненависть ко мне. Думаю, что скоро этот недруг мой успокоится; от моего бедного теперешнего положения он просветлеет...

Шубин предвидел свои черные дни. Впрочем, они уже наступали. Прошения Шубина к Бецкому оставались без ответа и последствий. Измором и волокитой, заговором молчания и нищетою грозили ему враги из Академии художеств. Они не хотели иметь в своих рядах упрямого правдолюбца; о нем говорили как о мастере, чуждом дворянскому обществу. Сановной верхушке ближе и приятней было новое на-

правление в искусствах, подкупающее их возвышающим обманом. Появились новые любимцы дворцовой знати — вателы Рашет, Гордеев и молодой даровитый Мартос.

Против Шубина и его художественной правды явно и скрыто продолжали выступать и завистники, и бездарности, и даровитые недруги:

— Шубин мужиковат, где ему перебороть свое простоватое холмогорское нутро. Отжил, устарел, из моды вышел... — злорадствовал Гордеев при каждом удобном и неудобном случае.

В эту пору из-за нужды Шубину приходилось выполнять церковные заказы. Но и тут злостные слухи о безбожии и кощунстве скульптора мешали ему работать.

Нашлись злоязычники, которые рассказывали, что за Нарвской заставой сторожевые солдаты подобрали попа-расстригу, упившегося до полусмерти вином, и когда привели его в чувство и спросили, кто он? — всклокоченный „старец“ ответил: „Я пророк Моисей, а если не верите, то взгляните на мой лик в Троицком соборе“. Проверили — и в самом деле лицом это был не кто иной, как шубинский Моисей...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Порожняком на пяти подводах подъехали к дому Федота Шубина поморы и вылезли из запорошенных снегом розвальней.

— Домишко-то у брата не ахти какой, — сказал самый старый из них, седобородый и согнутый Яков Шубной, засовывая рукавицы за кушак. — На снос домишко-то просится. Я-то думал, что у него нивесть какие хоромы! Однако, мужики, его ли это дом-то? Гляньте получше. Почитайте на дощечке, у меня на дальность в глазах рябит.

Васюк Редькин, опираясь на кнутовище, подошел поближе к воротам и прочел надпись:

Пятая линия. Сей дом № 176 принадлежит
господину надворному советнику и академику
Федоту Ивановичу Шубину.

— Все правильно, только в фамилии ошибка, — заметил один из мужиков.

— Никакой ошибки, — пояснил Яков, — по-деревенски, по-нашенски — Шубной, а по-питерски, по-господски — Шубин. Ну, привязывайте лошадей к забору.

Федот Иванович был искренне обрадован приездом гостей из далекой Денисовки. После долгих лет разлуки расспросам, разговорам не предвиделось конца. Приветливо Вера Филипповна угощала гостей чем могла. Дети молчаливо жались в углы и глазели на бородатых кряжистых и говорливых мужиков. Впервые в жизни поморы пили вино из прозрачных рюмок и неловко подхватывали вилками куски жареной рыбы и говядины. У себя дома они привыкли пить и есть из посуды деревянной или глиняной и вместо вилок служили им пальцы.

Степенно, не перебивая друг друга, поморы рассказывали о своих делах, о том, как ловится нынче семга в Двине, кто погиб на морских промыслах, кто разбогател, кто по миру пошел и кто пострадал по божьей милости — от пожара.

Яков Шубной, после того как изрядно выпил и закусил, расхвастался, что он хоть и стар стал и согнулся от трудов, как береста от жары, однако костерезное дело из рук его не валится.

— Помнишь, братец, как мы с тобой собирались родословие царей вырезать из кости?

— Как не помнить, мне еще от протоппа неприятность была: в Холмогорах допрос учинили.

— Так вот, — продолжал Яков, — три года про между всяких дел я трудился и родословие вырезал. Из Москвы, из Оружейной Палаты, благодарение за труд получил. Без наук, своим умом дошел! А теперь ты нам, Федот Иванович, поведай, чему ты обучился. Знать желаем, что выходит из рук твоих благодаря преуспеянию в науках?

Одевшись, гости в сопровождении Федота вышли на двор и направились по протоптанной на снегу тропинке в мастерскую. Здесь были нагромождены бочки с гипсом и глиной, валялся щебень и куски белого мрамора. Вдоль одной стены, на широком верстаке, лежали несложные инструменты. По углам торчали скелеты каркасов; некоторые из них были облеплены глиной и ожидали, когда прикоснется к ним рука мастера.

Шубин показал гостям две готовые фигуры — мраморную — князя Зубова и гипсовую — Ломоносова.

— Вот видите, какие штуки я делаю, — сказал он, обращаясь к землякам. — Раньше, как и вы, орудовал клепиками,

втиральниками, стамесочками над плашками моржовой и мамонтовой кости. А теперь вот по мрамору работаю. Поглядите-ка на эти два бюста и скажите мне по-мужицки, прямо, что вы замечаете в фигурах этих? Мне крайне любопытно знать, как и что будет говорить простой народ о моих творениях...

Все помолчали. Потом один из холмогорских костерезов проговорил, восторженно поглядывая на бюсты:

— Не легкое дело из камня вытесать, да так гладко. Большая сноровка надобна да и инструмент крепкий, подходящий.

Васюк Редькин, посмотрев на гипсовую фигуру, спросил:

— А этот без парика обличием весь в Ломоносова, случаем он, наверное, и есть?

— Да, это Ломоносов, — ответил Шубин, — в таком виде и в этом возрасте он изображен впервые. Значит похож, если земляки его узнают!

— Еще бы!.. Покойного мудреца нашего я в жизни не раз видел и разговаривал с ним вот как сейчас с тобой. Смотрите, лоб-то у него какой! А лицо? Холмогорское и будто усмеяется нам. Узнал он, ребята, своих соседей, узнал!..

Подойдя чуть ближе к бюсту, Редькин вдруг снял с головы треух и низко поклонился:

— Здравствуй, дорогой соседушко, здорово, Михайло Васильевич!

И враз все остальные поморы обнажили головы и поклонились бюсту. Шубин отвернулся, смахнул незаметно с глаз навернувшиеся слезинки и взволнованно сказал:

— Мне скоро шесть десятков стукнет, а справедливее его я в жизни еще никого не встречал.

— Ты бы, Федот Иванович, сводил нас на могилу к земляку, — попросил Яков.

— Обязательно надо! — поддержали его соседи.

— Ладно, лошади у вас свои, съездим.

— Далеко отсель?

— Нет, до вечера успеем домой вернуться.

Яков, продолжая рассматривать бюст, говорил:

— Хорошо помню его. Мне было годков шесть, а он постарше меня на девять. Бывало коров пасет, а сам сидит под елочкой на горушке и книгу читает... А тут из камня совсем другой. По лицу видно, довольный такой, жизнь не худо прожил и на душе ни одного грязного пятнышка...

— О добром человеке и память такая. Сделано на славу, Федот Иванович, золотыми руками сделано, — похвалили мужики и повернулись к блестящему мраморному бюсту князя Зубова, красавца средних лет, напыщенного, с поднятой головой.

— У-у! Какой щеголь! — сорвалось с языка у Якова Шубного.

— Эгот, поди-ко, не знает, на чем и хлеб растет? — вопросительно добавил Редькин.

— Где ему знать, у такого отродясь черной крошки во рту не бывало!

Один из поморов покосился на Якова и, толкнув его локтем в бок, проворчал:

— Ты, дядя Яков, разом, не лишнюю ли выпил? Это тебе не в Денисовке грубиянить, может этот щеголь Федоту шурином или свояком приходится.

— А что? Я разве не правду сказал? Щеголя сразу видно, по мне хоть сват, хоть брат, — не унимался Яков и, подойдя к бюсту Зубова, пощупал его холодный мраморный подбородок, погладил узкий лоб, потрогал полированные складки драпировки и с видом понимающего толк в скульптуре сказал:

— Я самый старый из вас, костерезов, стало быть я маракую в художествах. Кто сей щеголь? Ни мне, ни вам неведомо. Один Федот знает, кого он из камня выдолбил. Не то это принц, не то царевич, не то барчук какой. Одно вижу, когда гляжу я в лицо ему, — нехорошего человека изобразил Федот. Смотрите, как он голову-то задрал, будто нам сказать хочет: „берегись назём, мёд везём!“ Слов нет, красиво приосанился, а ума-то в такой натуре незаметно. Ломоносов — тот орел, а этот — трясогузка.

Мужики усмехнулись. Федот одобряюще заметил:

— Правильны суждения твои, правильны.

— С мужика чего спрашивать, говорю на-глазок да наощупь, не по науке, — скромно ответил Яков и спросил: — Дозволь знать, Федот Иванович, много ли ты на своем веку таких идолов наделал и куда их рассовал?..

— Много, брат, очень много, почитай более двухсот, а находятся они все во дворцах, в усадьбах князей и графов, в Эрмитаже, есть в Троицком соборе и есть даже за границей.

— Далеко, брат, шагнул! А из этого куска кого вырубать станешь? Сделал бы самого себя на память, — посовето-

вал Яков, ощупывая глыбу мрамора, по цвету схожую с сероватым весенним снегом.

— Нет, — сказал Шубин, — это для особой надобности. Держу про себя такую думку: случится повидать полководца Суворова, обязательно его бюст сработаю. Руки уставать начали от делания бюстов с персон, к которым не лежит мое сердце. Ну, я их по-своему, понятно, и делаю. Правда моя им не по вкусу. Недруги шипят по-за углам, хают меня: „он, дескать, грубой, портретной мастер и не место ему среди академиков“. Все эти щеголи, как их Яков назвал, любят ложь, ненавидят правду. Делал я бюст Шереметева Петра. Не влюбился ему мой труд, а я разве повинен в том, что сама барская жизнь отвратным его сотворила? — Шубин на минуту умолк и как бы про себя невесело добавил: — Туго мне от этих господ щеголей иногда бывает, но не сдамся, до самой смерти не сдамся! В угоду им не скривлю душой... Так-то.

В мастерской поморы пробыли довольно долго, а потом, не задерживаясь, на бойких лошадях, в розвальнях, вместе с Федотом поехали на кладбище. Оставив лошадей около ограды, они прошли по протоптанной дорожке к могиле Михайла Ломоносова. По сторонам из глубокого снега торчали чугунные кресты и мраморные надгробия. Стаи галок жались под церковной кровлей. Откуда-то с кладбищенской окраины доносился плач и унылый голос попа и певчих, отпевавших покойника.

— Большого ума был человек, — тихо сказал Шубин, обращаясь к окружавшим его землякам, — и через тысячу лет русский народ будет вспоминать его добрым словом. Есть на нашей земле справедливый человек — Радищев. Власти наши гноят его в сибирских острогах. Сей муж написал о Михайле Васильевиче такие слова: „Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и во веки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий... Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского... Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен“... — Шубин умолк и, вытирая платком глаза, добавил: — Вечная тебе память, наш незабвенный земляк и друг!

Поморы поклонились мраморному памятнику и высыпали из кармана хлебные крошки на могилу.

— Галки склюют, помянут...

На обратном пути растроганный нахлынувшими воспоминаниями Шубин рассказывал землякам о своих встречах с Ломоносовым.

— И ничего не было в жизни ужасней, чем замечать радость на лицах недругов Ломоносова по случаю его кончины...

Шубин обвел усталым взглядом своих односельчан и грустно проговорил:

— Надеюсь, вы не помянете меня лихом и при случае зайдете навестить, как вот сегодня Михайлу Васильевича. Годы-то идут, смерть — она, братцы, недосугов не знает, придет и палкой ее не отгонишь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Умерла Екатерина, и не знали даже близкие верноподданные, кто будет наследником — сын ли Павел, которого царица недолюбливала, или внук Александр. Ходили слухи еще при жизни царицы о том, что она написала завещание в пользу Александра. Бездыханное тело ее еще не успело остынуть, а Павел уже рылся в бумагах и сжигал в камине всё, что попадало ему под руку. Никто из придворных не осмеливался остановить Павла. Лишь Безбородко, у которого слезы по поводу кончины царицы успели высохнуть, увидев встревоженного Павла за сжиганием бумаг и оставшись с ним наедине, показал, не выпуская из своих рук, пакет за пятью печатами с надписью:

Вскрыть после моей смерти. Екатерина II.

Павел понял, что все старания его были напрасны, и весь затрясся от бешенства. Безбородко, подойдя к Павлу, участливо спросил:

— Знаете ли вы, ваше величество, что здесь запечатано?

Павел промычал в ответ что-то, чего не мог понять Безбородко.

— Я готов служить вам верно и преданно, как служил покойной государыне, — сказал вкрадчиво Безбородко и, подавая Павлу пакет, кивнул в сторону камина, где тлели бумаги.

Намек был понятен.

Через минуту от завещания Екатерины остались зола и запах сургуча, а курносый Павел обнимал и чмокал Безбородко в пухлые щеки.

Так внук Екатерины Александр был на несколько лет отодвинут от престола. За это Безбородко по милости Павла увеличил и без того громадное свое состояние на тридцать тысяч десятин земли и на шестнадцать тысяч крестьянских душ и получил чин канцлера и титул князя.

Еще не успев упрочиться на троне, Павел сразу же начал вершить дела, противные направлению своей покойной матери. Он стал отменять екатерининские указы и окружать себя своими сторонниками.

— Теперь все пойдет по-новому, — с задором говорили приближенные Павла, на что старый дипломат Безбородко отвечал: „Не знаю, как дело пойдет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения выпалить не смела“. — И он начинал перечислять победы русских полководцев...

Павел повелел даже вернуть из Сибири Радищева только потому, что он был выслан Екатериной. (Радищев вернулся и получил должность, но условиями жизни был доведен до самоубийства).

На внимание со стороны нового монарха имел некоторую надежду и притесненный недругами, необеспеченный под старость Федот Шубин. В Академии художеств узнали о том, что Шубин пишет прошение царю, и тогда руководители Академии поспешили приблизить его к себе. Ему поручили вести бесплатное преподавание в классе скульптуры и, как бывшего дворцового ваятеля, включили в комиссию... по устройству похорон Екатерины и Петра III. Такую миссию надворному советнику и академику Шубину поручили по желанию Федора Гордеева, имевшего в то время влияние на все дела в Академии. Он на совете предложил:

— Никто из нас не пользовался такими благостями покойной государыни, как дворцовый баловень ваятель Шубин. Ему и воздадим честь быть членом похоронной комиссии...

Возражать против такой „чести“ было невозможно. Шубин встал и молчаливым поклоном ответил на решение совета.

А похороны были не шуточные. Никогда и никого из царей так еще не хоронили. Длились похороны... сорок дней.

Петр III, незадачливый супруг Екатерины, не без ведома ее был задушен Алексеем Орловым. Тридцать четыре

года труп Петра разлагался под спудом в монастырской церкви, а не в Петропавловском соборе, где хоронили императоров и императриц. Павел решил исправить такую „несправедливость“. Он приказал достать из могилы кости своего отца, а графу Орлову итти за гробом своей давней жертвы и нести в руках корону. И все вельможи и сановники двора, знавшие историю удушения Петра III, дивились изобретательности Павла, его умению мстить и исправлять непоправимое.

Шубин в эти долгие траурные дни был огорчен и расстроен другими обстоятельствами: в Академии художеств, насмехаясь над ним, шушукались: „Знаменитость из портретного преобразилась в похоронного“.

Издевка Гордеева была очевидна и Шубину понятна. Федот Иванович еще надеялся восстановить себя в былых правах.

Но было уже поздно. Наступил закат. Мода и спрос на его творения кончались бесповоротно.

Только через год после подачи жалобы Павлу Шубин был вызван во дворец. Раньше, когда была жива Екатерина, ему ни разу не приходилось видеть Павла. Наследник враждовал с ней, был ненавидим матерью и жил замкнуто в Гатчине, занимаясь военной муштрой по прусскому образцу.

Обтянутый тесным мундиром рыцаря Мальтийского ордена, с крестом во всю чахлую грудь, император принял Шубина крайне неприветливо.

— Ты что! — кричал он, держа в руках скомканную жалобу скульптора. — По-твоему, у императора и дела больше нет, кроме как разбирать каких-то академиков?!

— Ваше императорское величество, раньше государыня-матушка весьма уделяла внимание, а потом она за множеством дел своих...

Но Павел не хотел слышать о своей матушке.

— Знаем, слышали! — резко и пренебрежительно отвечал он, высоко задирая голову и показывая вместо носа одни раздутые ноздри. — Внимание... внимание... какое еще внимание? Всякому надворному советнику внимание!? А нам от художеств какое внимание? Слава богу, я на престоле не первый день, а где бюст императора Павла? Знаю твои работы — бюсты фаворитов — любовников той же матушки (не тем будь помянута), статую ее знаю! А сейчас, при моем царствовании, что делаешь?..

— Ваше величество, поистине скажу, стар я и работа нужна по силам. Пенсия нужна бы... Есть у меня последний кусок мрамора, свой собственный, ни на кого не трачу, берегу. Думаю, как вернется в Петербург великий полководец Суворов, его бюст сделать, дал себе обещание. Иначе история не простит мне такого упущения. И давно бы я сделал бюст с него, но великий полководец неуловим. Он всю жизнь свою проводит то в далеких походах, то в глухом захолустье в опале. А ведь, ваше величество, кого, как не Александра Васильевича изваять в камне и бронзе! Из золота ему надобно памятники ставить. На Руси три великих государственных мужа, имена которых веки не затмятся. Петр Первый, ученый Ломоносов и не знавший поражений славный полководец, любимец народа генералиссимус Суворов! Не мне говорить вам о его великих подвигах... — ответил Федот Шубин и поклонился императору.

— Опять же Суворов! Помешались вы все на Суворове! А не я ли его из опалы извлек?.. Ступай, работай... Будет дело — будет и благодарность.

Только и услышал из уст Павла скульптор Шубин и не рад был, что год тому назад дерзнул пожаловаться царю на свою участь и просить его о помощи.

Задумчивый, расстроенный пришел он к себе домой на Васильевский остров. В доме было холодно и пусто. Все, что было менее необходимо, давно уже продано. На кухне и в двух соседних комнатах шумели ребята-подростки.

Вера Филипповна, постаревшая не столько от возраста, сколько от невзгод мужа, вошла в комнату, где не раздевшись сидел в тяжком раздумье вернувшийся из дворца Шубин.

— Опять плохи дела, Федот? — с прискорбием спросила она. — И царь тебя ничем не порадовал?..

— Да, не порадовал, — тяжело вздохнул скульптор. — Кажется, на нашей улице праздника не предвидится. Попытаюсь услужить Павлу, он желает иметь бюст моей работы. Страшно приниматься лепить урода... — Шубин говорил отрывисто, глотая с каждым словом обиду, комом стоявшую в его горле.

А через несколько дней, оправившись от болезненных переживаний, скульптор съездил в Гатчину, где Павел проводил смотр гарнизона. Среди войск был целый полк курносых, подобранных по образу и подобию самого царя. Но острый глаз Шубина не приметил в полку двойника Павла. Лицо государя было настолько особенным, что навряд ли

кто имел с ним близкое сходство. И скульптор попросил высочайшего позволения сделать с Павла зарисовку, дабы в мраморе император был как живой.

Сеанс длился не более получаса. Нарочито для этого Павел оделся в мантию и накинул на свои узкие плечи золотую царскую цепь, составленную из гербов. Выпив тощую грудь с нагрудником и крестом Мальтийского ордена, к которому он был особенно привержен, император сидел перед Шубиным подобно истукану, не шевелясь и сдерживая дыхание...

Прошло несколько месяцев, и кусок мрамора в старом каретнике — мастерской Шубина — ожил. Из под резца скульптора вышел преотменный бюст, поразительно схожий с Павлом — короткий загнутый кверху нос на измятом лице казался вдавленным между щеками, нижняя челюсть выступала вперед, как у обезьяны, лоб был узок и покат. Никто из художников и скульпторов, входивших тогда в моду, не решился бы с такой смелостью изобразить строптивного монарха. Когда-то в юношеские годы Николая Жилле лепил бюст с Павла-наследника, но француз сфальшивил, прикрасил дурные черты в лице и осанку царственного выродка. Шубин, каким он был, таким и продолжал оставаться. Он мог стать изгнанником, пойти просить милостыню — изменить же правде было не в его силах, не в его характере.

В закрытой карете бюст увезли из мастерской во дворец напоказ Павлу.

Император молча принял бюст, осмотрел его и, сняв со своего мизинца бриллиантовый перстень, сказал, подавая слугам:

— Вот, отнесите ему... в благодарность от меня... — И, видимо, не доверяя, добавил: — Отдайте под расписку...

От драгоценного перстня положение скульптора не улучшилось.

Вскоре Павел, как и его отец, был задушен. „Высочайший“ подарок Шубин не замедлил продать. Деньги были скоро прожиты. Неумолимая нужда еще крепче стеснила скульптора и его семью. Помощь от Академии оказывалась незначительная. Зрение художника, так много поработавшего на своем веку, испортилось. А шестерых детей было нужно кормить, одевать, учить. Ни один из шести не пошел по пути своего отца, ни один не захотел стать ваятелем или живописцем. И Шубин не настаивал: слишком печальной была в ту пору участь талантливых правдолюбцев-художни-

ков. В довершение к старости и безотрадной нужде во время большого пожара сгорел ветхий деревянный дом, остальной скarb и мастерская.

И снова хождения, унижительные упрасивания о помощи. Нужда приблизила смерть.

Федот Иванович Шубин умер в мае 1805 года, шестидесяти пяти лет от роду.

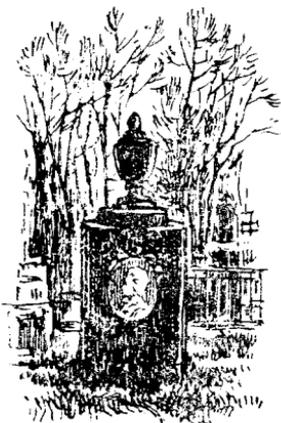
Кто-то из родственников Веры Филипповны догадался поставить на могиле Шубина скромный памятник с барельефом. Слова эпитафии вешали, что здесь покоится:

*„Бездушных диких скал резцом животворитель,
Природы сын и друг, искусства же виждитель“.*

* * *

В наше советское время имя знаменитого русского скульптора-реалиста Федота Ивановича Шубина не забыто.

Многие его работы находятся в Русском музее в Ленинграде, в Третьяковской галлерее и в Оружейной палате в Москве. По произведениям Федота Шубина народ верно судит об эпохе и той общественной среде, в которой знаменитому ваятелю приходилось жить и трудиться.



СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И УСТАРЕЛЫХ СЛОВ

Алтын — три копейки.

Алебарда — старинное холодное оружие.

Баталия — битва.

Божница — место в переднем углу для икон.

Ваганы — жители из деревень с Ваги-реки и Верховажья.

Глядильце — зеркало.

Грумант — остров Шпицберген, куда с давних пор ходили на рыбо-ловческих судах промыслять архангельские и мезенские поморы.

Гуменник — крытое строение на гумне, в котором происходит молотба, а по засекам складываются снопы.

Кокошник — старинный женский головной убор, украшенный бисером и жемчугом.

Лонись — в прошлом году.

Мзда — награда, вознаграждение.

Мрежи — рыбацкие сети, иначе называемые мережи, мережки.

Нарты — повозка с полозьями для езды на оленях.

Окапок, охапка — ноша, взятая руками в обхват.

Обряжуха — женщина, ухаживающая за домашним скотом.

Обрящете — найдете.

Панагия — архиерейский нагрудный знак на шейной цепи, с рисунком или барельефом, обычно осыпанный драгоценными камнями.

Погуторим — поговорим.

Покрутчик — наемный работник в рыбацкой или зверобойной артели.

Простяга — простой, добродушный, незлобивый человек.

Славнуха — девица, которая в почете среди односельчан.

Складень — медная, складная икона.

Треух — шапка с наушниками.

Тем паче — тем более.

Таверна — кабачок, харчевня в Италии и в некоторых других странах.

Тулошные оконницы — узкие поперечные окна, глядя в которые можно было притулиться, то есть спрятать туловище.

Туес — берестяная посудина — бурак.

Фаворит — здесь: пользующийся благосклонностью царицы савонник, влияющий на государственные дела.

Хорей — длинный шест для управления ездовыми оленями.

Харчевня — закусочное заведение, трактир.

Целовальник — продавец в питейном заведении.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	5
Глава первая	8
Глава вторая	12
Глава третья	14
Глава четвертая	20
Глава пятая	24
Глава шестая	30
Глава седьмая	35
Глава восьмая	46
Глава девятая	50
Глава десятая	54
Глава одиннадцатая	57
Глава двенадцатая	62
Глава тринадцатая	67
Глава четырнадцатая	71
Глава пятнадцатая	76
Глава шестнадцатая	80
Глава семнадцатая	85
Глава восемнадцатая	93
Глава девятнадцатая	101
Глава двадцатая	107
Глава двадцать первая	115
Глава двадцать вторая	121
Глава двадцать третья	127
Глава двадцать четвертая	132
<i>Словарь местных и устарелых слов</i>	<i>138</i>

Редактор *Н. Ткаченко.*
Корректор *А. Староверова.*
Тех. редактор *Г. Щетникова.*

Сдано в произв. 4|IV-50 г. Подп. к печ. 29|VII-50 г
Бум. л. 4,75 печ. л. 7,96 + 6 вклеек уч.-изд. л. 8,557
Форм. бум. 60x84₁₆. Сл-02339.
Тираж 10 000. Зак. № 14. Цена 4 р. 25 к., перепл. 1 руб.

г. Архангельск, Набережная им. Сталина, 86,
Типография им. Склепкива.

п. 53 г.

16 07

10.05.16-6060 OKB
~~18.02.2019~~ OKB
23.12.22 OKB, OKB
10.01.24 O7P

50

5 p. 25 н.